
Рождественские
рассказы
зарубежных
писателей

Рождественские рассказы зарубежных писателей

Ганс Христиан Андерсен, Чарльз Диккенс, Ги де Мопассан, Сельма Лагерлёф, Артур Конан Дойль, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Оскар Уайльд

Аннотация
Рождественские рассказы зарубежных писателей
С.О.Л. Лагерлеф
Легенды о Христе. (Перевод В. Спасской)
Святая ночь
Видение императора
Колодец мудрецов
Вифлеемский младенец
Э.Т.А. Гофман
Щелкунчик и Мышиный король. (Перевод А. Соколовского)
Сочельник
Подарки
Любимец
Чудеса

Сражение
Болезнь
Сказка о крепком орехе
Продолжение сказки о крепком орехе
Конец сказки о крепком орехе
Дядя и племянник
Победа
Кукольное царство
Столица
Заключение
Г.Х. Андерсен
Девочка со спичками. (Перевод А. и П. Ганзенов)
Г. де Мопассан
Сочельник. (Перевод А. Чеботаревской)
А. Конан Дойль
История голубого алмаза. (Перевод Ф. Латернера)
Ч. Диккенс
Рождественская песнь в прозе. (Перевод И. Пушечникова)
Строфа I. Дух Марли
Строфа II. Первый дух
Строфа III. Второй дух
Строфа IV. Последний дух
Строфа V. Эпилог

О. Уайльд

Великан-эгоист. (Перевод И. Сахарова)

Аннотация

Когда мороз рисует на окнах волшебные узоры, на дорожках загадочно блестит снег, а улицы наряжаются в яркие гирлянды, люди празднуют самые светлые и чудесные праздники – Рождество и Новый год. В эти дни особенно хочется порадовать родных и близких приятными подарками!

Войдите в мир волшебства, добра и рождественских историй, держа в руках эту книгу, полную прекрасных произведений знаменитых зарубежных писателей!

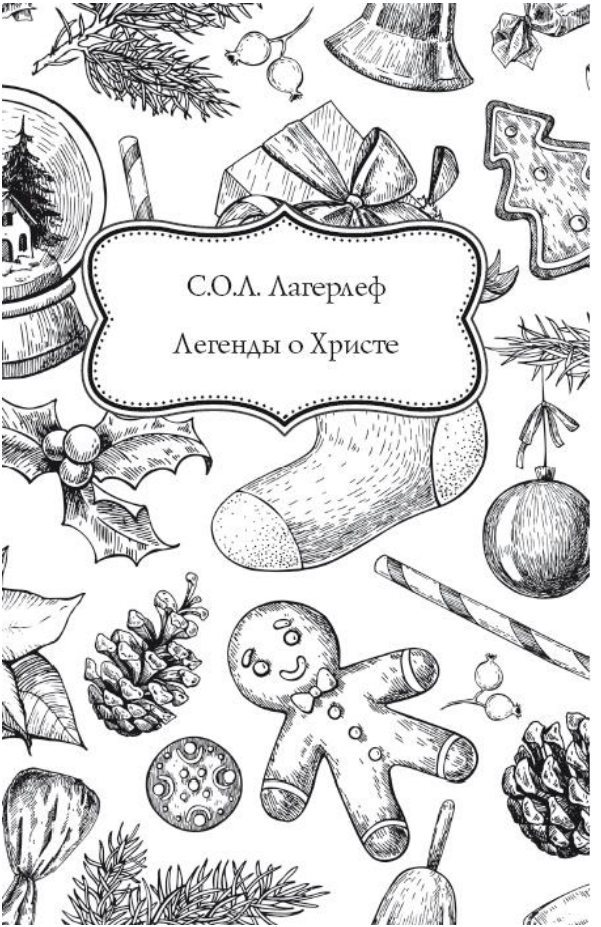
Рождественские рассказы зарубежных писателей


РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
РАССКАЗЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021



С.О.Л. Лагерлеф


С.О.Л. Лагерлеф
Легенды о Христе

Легенды о Христе
(Перевод В. Спасской)



Святая ночь

Когда мне было пять лет, меня постигло очень большое горе. Более сильного я, кажется, с тех пор и не знала: умерла моя бабушка. До самой своей кончины она проводила дни, сидя в своей комнате на угловом диване и рассказывая нам сказки.

Бабушка рассказывала их с утра до вечера, а мы, дети, тихо сидели возле нее и слушали. Чудесная это была жизнь! Никаким другим детям не жилось так хорошо, как нам.

Лишь немногое сохранилось у меня в памяти о моей бабушке. Помню, что у нее были красивые, белые как снег волосы, что она ходила совсем сгорбившись и постоянно вязала чулок.

Помню еще, что, кончив рассказывать какую-нибудь сказку, она обыкновенно опускала свою руку мне на голову и говорила:

— И все это такая же правда, как то, что мы сейчас видим друг друга.

Помню я и то, что она умела петь чудесные песни, но пела она их не часто. В одной из этих песен речь шла о рыцаре и о морской царевне, и у нее был припев: «Ветер холодный-холодный над морем подул».

Помню еще короткую молитву и псалом, которым она меня научила.

Обо всех сказках, которые она мне рассказывала, у меня осталось лишь бледное, смутное воспоминание. Только одну из них я помню так хорошо, что могла бы пересказать ее и сейчас. Это маленькая легенда о Рождестве Христовом.

Вот почти все, что я могу припомнить о своей бабушке, кроме того, что я помню лучше всего, — ощущение великой утраты, когда она покинула нас.

Я помню то утро, когда диван в углу оказался пустым, и было невозможно представить, когда же кончится этот день. Этого я не забуду никогда.

И помню я, как нас, детей, подвели к усопшей, чтоб мы простились с ней и поцеловали ее ру-

ку. Мы боялись целовать покойницу, но кто-то сказал нам, что ведь это последний раз, когда мы можем поблагодарить бабушку за все радости, которые она нам доставляла.

И я помню, как сказки и песни вместе с бабушкой уехали из нашего дома, уложенные в длинный черный ящик, и никогда больше не возвращались.

Что-то ушло тогда из жизни. Точно навсегда заперли дверь в широкий, прекрасный, волшебный мир, в котором мы прежде свободно бродили. И никого не нашлось, кто сумел бы отпереть эту дверь.

Мы постепенно научились играть в куклы и игрушки и жить так, как все другие дети, и могло показаться, что мы больше не тоскуем о бабушке и не вспоминаем о ней.

Но даже и в эту минуту, спустя много лет, когда я сижу и вспоминаю все слышанные мною легенды о Христе, в моей памяти встает сказание о Рождестве Христовом, которое любила рассказывать бабушка. И теперь мне хочется самой рассказать его, включив в мой сборник.

Это было в Рождественский сочельник, когда все уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Мы были, кажется, одни во всем доме. Нас не взяли,

потому что одна из нас была слишком мала, другая слишком стара. И обе мы горевали о том, что не можем побывать на торжественной службе и увидеть сияние рождественских свечей.

И когда мы сидели с ней в одиночестве, бабушка начала свой рассказ.

— Когда-то в глухую, темную ночь один человек вышел на улицу, чтобы раздобыть огня. Он переходил от хижины к хижине, стучась в двери, и просил: «Помогите мне, добрые люди! Моя жена только что родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее и младенца».

Но была глубокая ночь, и все люди спали. Никто не откликался на его просьбу.

Человек шел все дальше и дальше. Наконец он заметил вдали мерцающее пламя. Он направился к нему и увидел, что это костер, разведенный в поле. Множество белых овец спало вокруг костра, а старый пастух сидел и стерег свое стадо.

Когда человек приблизился к овцам, он увидел, что у ног пастуха лежат и дремлют три собаки. При его приближении все три проснулись и оскалили свои широкие пасти, точно собираясь залаять, но не издали ни единого звука. Он видел, как шерсть дыбом поднялась у них на спине, как их острые, белые зубы ослепительно засверкали

в свете костра и как все они кинулись на него. Он почувствовал, что одна схватила его за ногу, другая — за руку, третья вцепилась ему в горло. Но крепкие зубы словно бы не повиновались собакам, и, не причинив ему ни малейшего вреда, они отошли в сторону.

Человек хотел пойти дальше. Но овцы лежали так тесно прижавшись друг к другу, спина к спине, что он не мог пробраться между ними. Тогда он прямо по их спинам пошел вперед, к костру. И ни одна овца не проснулась и не пошевелилась…

До сих пор бабушка вела рассказ не останавливаясь, но тут я не могла удержаться, чтобы ее не перебить.

— Отчего же, бабушка, они продолжали спокойно лежать? Ведь они так пугливы? — спросила я.

— Это ты скоро узнаешь, — сказала бабушка и продолжала свое повествование: — Когда человек подошел достаточно близко к огню, пастух поднял голову. Это был угрюмый старик, грубый и неприветливый со всеми. И когда он увидел, что к нему приближается незнакомец, он схватил длинный, остроконечный посох, с которым всегда ходил за стадом, и бросил в него. И посох со свистом полетел прямо в незнакомца, но, не

ударив его, отклонился в сторону и пролетел мимо, на другой конец поля.

Когда бабушка дошла до этого места, я снова прервала ее:

— Отчего же посох не попал в этого человека?

Но бабушка ничего не ответила мне и продолжала свой рассказ:

— Человек подошел тогда к пастуху и сказал ему: «Друг, помоги мне, дай мне огня! Моя жена только что родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее и младенца!».

Старик предпочел бы ответить отказом, но, когда он вспомнил, что собаки не смогли укусить этого человека, овцы не разбежались от него и посох, не задев его, пролетел мимо, ему стало не по себе, и он не посмел отказать ему в просьбе.

«Бери, сколько тебе нужно!» — сказал пастух.

Но костер уже почти догорел, и вокруг не осталось больше ни поленьев, ни сучьев, лежала только большая куча жару; у незнакомца же не было ни лопаты, ни совка, чтобы взять себе красных угольков.

Увидев это, пастух снова предложил: «Бери, сколько тебе нужно!» — и радовался при мысли, что человек не может унести с собой огня.

Но тот наклонился, выбрал себе горстку углей

голыми руками и положил их в полу своей одежды. И угли не обожгли ему рук, когда он брал их, и не прожгли его одежды; он понес их, словно это были яблоки или орехи…

Тут я в третий раз перебила рассказчицу:

— Бабушка, отчего угольки не обожгли его?

— Потом все узнаешь, — сказала бабушка и стала рассказывать дальше: — Когда злой и сердитый пастух увидел все это, он очень удивился: «Что это за ночь такая, в которую собаки кротки, как овечки, овцы не ведают страха, посох не убивает и огонь не жжет?» Он окликнул незнакомца и спросил его: «Что это за ночь такая? И отчего все животные и вещи так милостивы к тебе?» «Я не могу тебе этого объяснить, раз ты сам этого не видишь!» — ответил незнакомец и пошел своей дорогой, чтобы поскорее развести огонь и согреть свою жену и младенца.

Пастух решил не терять этого человека из виду, пока ему не станет ясно, что все это значит. Он встал и пошел следом за ним до самого его обиталища. И пастух увидел, что у незнакомца нет даже хижины для жилья, что жена его и новорожденный младенец лежат в горной пещере, где нет ничего, кроме холодных каменных стен.

Пастух подумал, что бедный невинный младе-

нец может насмерть замерзнуть в этой пещере, и, хотя он был суровым человеком, он растрогался до глубины души и решил помочь малютке. Сняв с плеч свою котомку, он вынул оттуда мягкую белую овчину и отдал ее незнакомцу, чтобы тот уложил на нее младенца.

И в тот самый миг, когда оказалось, что и он тоже может быть милосерден, глаза его открылись, и он увидел то, чего раньше не мог видеть, и услышал то, чего раньше не мог слышать.

Он увидел, что вокруг него стоят плотным кольцом ангелочки с серебряными крылышками. И каждый из них держит в руках арфу, и все они поют громкими голосами о том, что в эту ночь родился Спаситель, который искупит мир от греха.

Тогда пастух понял, почему все в природе так радовалось в эту ночь и никто не мог причинить зла отцу ребенка.

Оглянувшись, пастух увидел, что ангелы были повсюду. Они сидели в пещере, спускались с горы и летали в поднебесье; они проходили по дороге и, минуя пещеру, останавливались и бросали взоры на младенца. И повсюду царили ликование, радость, пение и веселье…

Все это пастух увидел среди ночной тьмы, в которой раньше ничего не мог разглядеть. И он,

обрадовавшись, что глаза его открылись, упал на колени и стал благодарить Бога... — При этих словах бабушка вздохнула и сказала: — Но то, что видел пастух, мы тоже могли бы увидеть, потому что ангелы летают в поднебесье каждую Рождественскую ночь. Если бы мы только умели смотреть!.. — И, положив мне руку на голову, бабушка прибавила: — Запомни это, потому что это такая же правда, как то, что мы видим друг друга. Дело не в свечах и лампадах, не в солнце и луне, а в том, чтобы иметь очи, которые могли бы видеть величие Господа!

Видение императора

Это случилось в то время, когда Август был императором в Риме, а Ирод — царем в Иудее.

И вот однажды на землю спустилась великая и святая ночь. Такой темной ночи никто еще никогда не видел. Невозможно было отличить воду от суши; и даже на самой знакомой дороге нельзя было не заблудиться. Да иначе и быть не могло, ведь с неба не падало ни одного лучика. Все звезды оставались дома, в своих жилищах, и ласковая луна не показывала своего лика.

И столь же глубокими, как мрак, были безмол-

вие и тишина этой ночи. Реки остановились в своем течении, не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка, листья осины перестали дрожать. Морские волны не бились больше о берег, а песок пустыни не хрустел под ногами у путника. Все окаменело, все стало недвижимо, чтобы не нарушать тишины святой ночи. Трава приостановила свой рост, роса не пала, цветы не источали свой аромат.

В эту ночь хищные звери не вышли на охоту, змеи затаились в своих гнездах, собаки не лаяли. Но самое чудесное заключалось в том, что и неодушевленные предметы хранили святость этой ночи, не желая содействовать злу: отмычки не отпирали замков, нож не мог пролить чью-то кровь.

В эту самую ночь несколько людей вышли из императорского дворца на Палатинском холме в Риме и направились через Форум к Капитолию. Незадолго перед тем, на закате дня, сенаторы спросили императора, не возражает ли он против их намерения воздвигнуть ему храм на священной горе Рима. Но Август не сразу дал свое согласие. Он не знал, будет ли угодно богам, если рядом с их храмом будет выситься храм, сооруженный в его честь, и потому решил принести

жертву своему духу-покровителю, чтобы узнать волю богов. Теперь в сопровождении нескольких приближенных он и отправился совершить это жертвоприношение.

Августа несли на носилках, потому что он был стар и подняться по высоким лестницам Капитолия уже не смог бы. В руках он держал клетку с голубями, которых намеревался принести в жертву. С ним не было ни жрецов, ни солдат, ни сенаторов; его окружали только самые близкие друзья. Факельщики шли впереди, как бы прокладывая путь среди ночного мрака, а сзади следовали рабы, несшие алтарь-треножник, ножи, священный огонь и все, что требовалось для жертвоприношения. Император весело беседовал дорогой со своими приближенными, и потому никто из них не заметил беспредельного безмолвия и тишины ночи. Только когда они поднялись к Капитолию и достигли места, предназначенного для сооружения храма, им стало ясно, что происходит нечто необычайное.

Эта ночь, несомненно, была не похожа на все другие ночи еще и потому, что на краю скалы император и его свита увидели какое-то странное существо. Сначала они приняли его за старый, искривленный ствол оливкового дерева, затем

им показалось, что на скалу вышло древнее каменное изваяние из храма Юпитера. Наконец они поняли, что это была старая Сибилла.

Никогда еще им не приходилось видеть такого старого, побуревшего от непогоды и времени, гигантского существа. Эта старуха наводила ужас. Не будь здесь императора, все бы разбежались по домам и попрятались в свои постели.

— Это та, — шептали они друг другу, — которой столько же лет, сколько песчинок на берегу ее отчизны. Зачем вышла она именно в эту ночь из своей пещеры? Что предвещает императору и империи эта женщина, выводящая свои пророчества на листьях деревьев, чтобы ветер затем отнес их по назначению?

Страх перед Сибиллой был так велик, что, сделай она хоть малейшее движение, люди тотчас же пали бы ниц и приникли челом к земле. Но она сидела неподвижно, как изваяние. Согнувшись на самом краю скалы и полуприкрыв глаза руками, всматривалась она в ночную тьму. Казалось, она взобралась на холм, чтобы лучше рассмотреть нечто, происходящее бесконечно далеко. Значит, она могла что-то видеть даже в такую темную ночь!

Только теперь император и вся его свита заме-

тили, как густ был ночной мрак. Ничего не было видно даже на расстоянии вытянутой руки. И какая тишина, какое безмолвие! Даже глухой рокот Тибра не долетал до их слуха. Они задыхались от неподвижного воздуха, холодный пот выступил у них на лбу, руки оцепенели и висели бессильно. Они чувствовали, что должно совершиться нечто ужасное. Однако никто из свиты не хотел обнаружить своего страха, все говорили императору, что это счастливое знамение: вся вселенная затаила дыхание, чтобы поклониться новому богу.

Они убеждали Августа поспешить с жертвоприношением.

— Возможно, что древняя Сибилла, — говорили они, — для того и покинула свою пещеру, чтобы приветствовать императора.

В действительности же внимание Сибиллы было поглощено совсем другим. Не замечая ни Августа, ни его свиты, она мысленно перенеслась в далекую страну. И чудилось ей, будто бредет она по обширной равнине. В темноте натыкается она на какие-то кочки. Но нет, это не кочки, а овцы. Она блуждает среди огромного стада спящих овец. Вот она заметила костер. Он горит среди поля, и она пробирается к нему. Возле костра спят пастухи, а подле них лежат длинные,

заостренные посохи, которыми они обычно защищают стадо от хищных зверей. Но что это? Сибилла видит, как стайка шакалов тихонько подкрадывается к огню. А между тем пастухи не защищают свое стадо, собаки продолжают мирно спать, овцы не разбегаются, и шакалы спокойно ложатся рядом с людьми.

Вот какую странную картину наблюдала сейчас Сибилла, но ничего не знала она о том, что происходит позади нее, на вершине горы. Она не знала, что там воздвигли жертвенник, развели огонь, насыпали курения и император вынул из клетки одного голубя, чтобы принести его в жертву. Но руки его вдруг так ослабели, что не могли удержать птицу. Одним легким взмахом крыльев голубь вырвался на свободу и, высоко взлетев, исчез в ночной тьме.

Когда это случилось, царедворцы подозрительно взглянули на древнюю Сибиллу. Они подумали, что это она все подстроила.

Могли ли они знать, что Сибилле по-прежнему чудилось, будто она стоит у костра пастухов и прислушивается к нежной музыке, тихо звучащей среди безмолвной ночи? Сибилла услышала ее задолго до того, когда наконец поняла, что музыка доносится не с земли, а с неба. Она подняла

голову и увидела, как по небу скользят светлые, лучезарные создания. Это были небольшие хоры ангелов. Казалось, они что-то ищут, тихонько напевая свои сладкозвучные гимны.

Пока Сибилла внимала ангельским песням, император снова готовился принести жертву. Он омыл руки, вычистил жертвенник и велел подать другого голубя. Но хотя на этот раз он изо всех сил старался удержать птицу, гладкое тельце выскользнуло из его руки, и голубь взвился к небу и скрылся в непроглядном мраке.

Императора охватил ужас. Он пал на колени перед пустым жертвенником и стал молиться своему духу-покровителю. Он просил его отвратить бедствия, которые, видимо, предвещала эта ночь.

Но и это прошло для Сибиллы незамеченным. Она вся была поглощена пением ангелов, которое становилось все сильней и сильней. Наконец оно стало таким громким, что разбудило пастухов. Приподнявшись, глядели они, как светозарные сонмы серебристых ангелов длинными, трепетными вереницами, подобно перелетным птицам, прорезали ночную тьму. У одних в руках были лютни и гусли, у других цитры и арфы, и пение их звенело так же радостно, как детский смех, и так

же беспечно, как щебетание жаворонков. Услышав это, пастухи встали и поспешили в город, где они жили, чтобы рассказать там об этом чуде.

Пастухи взбирались по тесной, извилистой тропинке, и древняя Сибилла следила за ними. Внезапно гора озарилась светом. Как раз над нею зажглась большая, яркая звезда, и, как серебро, заблистал в ее сиянии городок на вершине горы. Все сонмы носившихся в воздухе ангелов устремились туда с ликующими кликами, и пастухи ускорили шаги, так что уже почти бежали. Достигнув города, они увидели, что ангелы собрались над низкими яслями близ городских ворот. Это было жалкое строение с соломенной крышей, прилепившееся к скале. Над ним-то и сияла звезда, и сюда стекалось все больше и больше ангелов. Одни садились на соломенную кровлю или опускались на отвесную скалу за ним; другие, раскинув крылья, реяли в воздухе. И от их лучезарных крыльев весь воздух светился ярким светом.

В тот самый миг, как над городком зажглась звезда, вся природа пробудилась, и люди, стоявшие на высотах Капитолия, не могли не заметить этого. Они почувствовали, как свежий, ласкающий ветерок пронесся в воздухе, как потоки

благоуханий разлились вокруг них. Деревья зашелестели, Тибр зарокотал, засияли звезды, и луна поднялась внезапно на небе и осветила мир. А с облаков вспорхнули два голубя и сели на плечи императору.

Когда произошло это чудо, Август поднялся в горделивой радости, друзья же его и рабы бросились на колени.

— Ave Caesar![1] — воскликнули они. — Твой дух ответил тебе. Ты тот бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия.

И восторженные крики, которыми свита славила императора, были такими громкими, что дошли наконец до слуха старой Сибиллы и отвлекли ее от видений. Она поднялась со своего места на краю скалы и направилась к людям. Казалось, темная туча поднялась из бездны и понеслась на горную вершину. Сибилла была ужасна в своей старости: спутанные волосы висели вокруг ее головы жидкими космами, суставы рук и ног были вздуты, потемневшая кожа, покрывавшая тело неисчислимыми морщинами, напоминала древесную кору.

Могучая и грозная, подошла она к императору.

---

[1] Примечания: 1
Да здравствует Цезарь! (лат.)

Одной рукой она коснулась его плеча, другой указала ему на далекий восток.

— Взгляни! — повелела она, и император последовал ее приказу.

Пространство открылось перед его взором, и они проникли в дальнюю восточную страну. И он увидел убогий хлев под крутым утесом и в открытых дверях несколько коленопреклоненных пастухов. В пещере же увидел он юную мать, стоявшую на коленях перед новорожденным младенцем, который лежал на связке соломы на полу.

И своими большими, узловатыми пальцами Сибилла указала на этого бедного младенца.

— Ave Caesar! — воскликнула она с язвительным смехом. — Вот тот Бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия!

Тогда Август отшатнулся от нее, как от безумной. Но мощный дух предвидения снизошел на Сибиллу. Ее тусклые глаза загорелись, руки простерлись к небу, голос изменился, точно он принадлежал не ей; в нем появилась такая звучность и сила, что его можно было бы слышать по всей вселенной. И она произнесла слова, которые, казалось, прочитала в небесах:

— На Капитолии будут поклоняться обновите-

лю мира, будь он Христом или Антихристом, но не рожденным из праха.

Сказав это, она прошла мимо пораженных ужасом людей, медленно спустилась с вершины горы и исчезла.

На следующий день Август строго запретил сооружать ему памятник на Капитолии. Взамен его он воздвиг там святилище в честь новорожденного Бога-младенца и назвал его Алтарь Неба — Ara coelli.

Колодец мудрецов

Стояло лето. По Древней Иудее, по завядшим кустам терновника и по желтой от зноя траве ходила Засуха, угрюмая, с ввалившимися глазами.

Солнце обжигало горы, лишенные тени; малейший ветерок поднимал с земли густые облака известковой пыли; стада толпились в долинах у иссякших ручьев.

Засуха ходила и осматривала запасы воды. Она направилась к прудам Соломона и с досадой увидела, что еще много воды заключают они в своих скалистых берегах. Затем она спустилась к знаменитому колодцу Давида, близ Вифлеема, и там тоже нашла еще воду. Оттуда она медленно

поплелась по большой проезжей дороге, ведущей из Вифлеема в Иерусалим.

Пройдя около половины пути, она увидела Колодец Мудрецов, вырытый у самого края дороги, и тотчас же заметила, что он вот-вот иссякнет. Засуха присела на сруб колодца, состоящий из одного цельного, большого, выдолбленного камня, и заглянула в его глубину. Светлое водное зеркало, обыкновенно видневшееся близ самого отверстия, опустилось глубоко вниз, и тина и ил со дна загрязнили и замутили его.

Когда колодец увидел в своем тусклом зеркале загорелое лицо Засухи, на дне его послышался жалобный всплеск.

— Желала бы я знать, когда же тебе придет конец! — сказала Засуха. — Ведь под землей не осталось ни одного ручейка, который мог бы просочиться и дать тебе новую жизнь. А дождя, слава богу, жди не раньше чем через два-три месяца.

— Можешь быть спокойна, — тяжело вздохнул колодец. — Мне уже никто не поможет. Разве что райский ключ забьет вдруг со дна моего.

— Ну, так я не оставлю тебя, пока все не будет кончено, — сказала Засуха.

Она видела, что старому колодцу осталось недолго жить, и хотела насладиться тем, как

жизнь будет покидать его капля за каплей.

Она уселась поудобней на сруб и с радостью стала прислушиваться к горестным вздохам колодца в глубине. Большое удовольствие испытывала она, видя, как жаждущие странники подходят к колодцу, опускают в него свои ведра и вытаскивают со дна лишь несколько капель смешанной с тиной воды.

Так прошел весь день, и, когда стало смеркаться, Засуха снова заглянула в колодец. Внизу еще блестело немножко воды.

— Я здесь останусь на всю ночь! — крикнула она. — Можешь не торопиться! Когда совсем рассветет и я смогу снова заглянуть в тебя, на дне уже не будет ни капли.

Засуха прикорнула на крыше колодца.

А на Иудею тем временем сошла душная ночь, еще более жестокая и мучительная, чем знойный день. Собаки и шакалы выли, не переставая, им вторили томимые жаждой ослы и коровы. Редкие порывы ветра не приносили прохлады, сам ветер был горяч и удушлив, как жаркое дыхание огромного спящего чудовища.

Но звезды сверкали волшебно, как никогда, и маленький, блестящий серп молодого месяца заливал серые холмы чудным, зеленовато-го-

лубым светом. И в этом сиянии Засуха увидела длинный караван, приближавшийся к холму, где находился Колодец Мудрецов.

Засуха смотрела на караван и с наслаждением представляла, сколько томимых жаждой людей приближается к колодцу. И не найдут они здесь ни одной капли воды, чтобы напиться. Караван был столь велик, что вполне мог бы вычерпать все содержимое колодца, если б даже он был доверху полон воды. Но вдруг Засухе показалось, что в этом караване, путешествующем в ночи, есть что-то необычное, таинственное. Все верблюды появились перед ней на вершине холма, отвесно вздымавшегося над горизонтом, как-то внезапно, точно спустились с неба. Они казались крупней обыкновенных верблюдов и слишком уж легко несли свой большой груз.

В то же время не было сомнения в том, что и верблюды, и люди были настоящие, живые: ведь она видела их совершенно ясно. Засуха могла даже разглядеть, что трое передних верблюдов были дромадеры с серой, лоснящейся шерстью. На них была богатая упряжь, они были покрыты дорогими коврами, и всадниками их были красивые и знатные вельможи.

Весь караван остановился у колодца; дромаде-

ры с резкими криками опустились на землю, и всадники сошли с них. Вьючные верблюды остались стоять, к ним подходили остальные, и скоро они образовали бесконечную вереницу высоких шей и горбов и причудливо нагроможденных вьюков.

Три всадника, ехавшие на дромадерах, подошли к Засухе и приветствовали ее, приложив руку ко лбу и к сердцу. Она увидела, что на них были ослепительно-белые одеяния, а их огромные белоснежные чалмы венчали звезды, сиявшие таким ярким блеском, точно их сняли прямо с неба.

— Мы прибыли из дальней страны, — сказал один из чужеземцев, — и хотим спросить у тебя, действительно ли это Колодец Мудрецов?

— Так он назывался еще сегодня, — ответила Засуха, — но завтра здесь больше не будет колодца. Он должен умереть в эту ночь.

— Об этом можно догадаться, увидев тебя здесь, — сказал чужеземец. — Но разве это не один из тех священных колодцев, которые никогда не могут иссякнуть? Иначе зачем бы ему носить это имя?

— Я знаю, он священен, — сказала Засуха, — но что из того? Ведь все три мудреца, давшие ему это

название, давно в раю.

Путешественники переглянулись.

— Ты действительно знаешь историю этого древнего колодца? — спросили они.

— Я знаю историю всех колодцев и источников, всех ручьев и родников на свете, — гордо ответила Засуха.

— Так окажи нам милость, расскажи нам о священном Колодце Мудрецов! — попросили чужеземцы.

И они уселись кружком возле Засухи, стародавнего врага всего живущего на земле, и стали слушать.

Засуха откашлялась, поудобнее устроилась на своем высоком сиденье и приступила к повествованию.

— В Габесе, мидийском городе, лежащем у самой пустыни и поэтому часто служившем мне желанным приютом, жили много-много лет тому назад три человека, славившиеся своей мудростью. В то же время они были очень бедны — странное, казалось бы, обстоятельство, ибо в Габесе знание было в большом почете и щедро оплачивалось. Но эти люди и не могли ожидать ничего иного, ибо один из них был очень стар, другой поражен проказой, третий же был черный

толстогубый негр. Первого люди считали выжившим из ума стариком, второго избегали из боязни заразиться; речам же третьего они не хотели внимать, потому что были уверены, что никогда еще мудрость не являлась к ним из Эфиопии.

Между тем общее несчастье объединило трех мудрецов. Днем они просили милостыню у одних и тех же ворот храма, ночью спали на одной и той же кровле. Таким образом они и коротали время, рассказывая друг другу обо всем чудесном, что им приходилось видеть в своей жизни.

Однажды ночью, когда они спали рядышком на крыше, густо заросшей красным, душистым маком, самый старый из них проснулся и, едва открыв глаза, принялся будить своих товарищей. «Хвала нашей бедности, принуждающей нас спать на открытом воздухе! — сказал он им. — Проснитесь и поднимите взоры к небу!» Что и говорить, — продолжала Засуха, смягчив немного голос. — Это была такая ночь, что забыть ее никому не возможно. Было так светло, что небо, похожее обычно на твердый свод, казалось глубоким и прозрачным, как море. Свет вздымался в нем приливами и отливами, а звезды, казалось, плавали на различной глубине, одни в самых волнах света, другие на их поверхности.

Но вдруг из самой глубины неба показалось какое-то темное пятно. И это пятно стало стремительно приближаться. Приближаясь, оно светлело, но светлело так, как светлеют розы — да повелит им всем Господь Бог увянуть! — когда они распускаются. Пятно делалось все крупнее, темная оболочка его постепенно расходилась, и ярко засветились ее первые четыре лепестка.

Наконец, поравнявшись с самой близкой из звезд, это пятно, светящееся изнутри, остановилось.

Краешки темной оболочки совсем отогнулись в стороны, и из середины стали развертываться один за другим лепестки дивно-лучезарного, розоватого светила, перед которым побледнели все звезды небосклона.

Когда бедняки увидели это, их мудрость подсказала им, что в этот час родился на земле царь, который превзойдет своим могуществом и славой царя Кира и Александра Македонского. И они сказали друг другу: «Пойдем к родителям новорожденного и скажем им, что мы видели! Может статься, что мы получим от них в награду кошелек с червонцами или золотое запястье».

Мудрецы взяли свои длинные дорожные посохи и отправились в путь. Они прошли через

город и вышли к городским воротам, но тут остановились в нерешительности, ибо перед ними расстилалась великая — сухая и восхитительная — пустыня, которой люди так страшатся. И тогда они увидели, что новая звезда отбросила на песок пустыни узкую полоску света, как бы манившую их за собой, и, исполнившись надежды, они двинулись вперед за путеводной звездой.

Всю ночь шли они по бесконечной пустыне, беседуя о новорожденном царе, которого, конечно, найдут в золотой колыбели играющим драгоценными камнями. И ночь пролетела незаметно в беседах о том, как предстанут они пред царем, отцом новорожденного, и пред его матерью-царицей и как поведают им о небесном знамении, предрекающем их сыну силу и могущество, красоту и счастье, какими не обладал царь Соломон…

Они гордились тем, что Бог избрал именно их и им дал увидеть рождественскую звезду. Они говорили себе, что родители новорожденного должны дать им в награду по меньшей мере двадцать кошельков с золотом, а может быть, и столько, что им никогда уже больше не придется знать нужду и лишения… Я, как лев, подстерегающий добычу, лежала в пустыне, — пояснила свой рассказ Засуха, — и собиралась обрушиться

на этих путников всеми пытками жажды, но они ускользнули от меня. Звезда вела их всю ночь; утром же, когда небо посветлело и все другие звезды померкли, она настойчиво продолжала гореть и сиять над пустыней, пока не привела путников к оазису, где они нашли родник и деревья со спелыми плодами. Там они отдыхали весь день и двинулись далее лишь к ночи, когда снова увидели свет звезды, озаряющий собой пески пустыни.

Звезда не только вела, но и охраняла мудрецов от голода и жажды. Ни колючие кустарники, ни глубокие зыбучие пески, ни жгучее солнце, ни знойные пустынные бури не причиняли путникам вреда. И мудрецы понимали это. «Бог хранит нас и благословляет наше странствие. Мы его послы», — говорили они. Но и я не теряла времени зря, — усмехалась Засуха, — мало-помалу я все же прибрала их к рукам и завладела их сердцами. И они превратились в такую же мертвую пустыню, как та, по которой они шли. Они преисполнились бесплодной гордостью и опустошающей алчностью.

«Мы Божьи послы, — все чаще твердили мудрецы, — и если отец новорожденного подарит нам целый караван, груженный золотом, это,

пожалуй, будет нелишним».

Наконец звезда привела их к реке Иордану и заставила подняться на холмы Иудейской страны. И однажды ночью она остановилась перед городком Вифлеемом, огни которого сверкали среди оливковых деревьев на одном из горных склонов.

Мудрецы стали озираться и искать, где же здесь дворцы, укрепленные башни, каменные стены и все, чему подобает быть в царской столице, но ничего такого не увидели. Хуже того: сияние звезды привело их вовсе не в город, оно остановилось на краю дороги, перед какой-то жалкой пещерой. Кроткий свет звезды озарил ее, и три странника увидели младенца, которого мать баюкала у себя на коленях.

Но хотя мудрецы ясно видели, как сияние звезды словно венцом окружило головку младенца, они остались стоять перед входом в пещеру. Они не вошли в нее, чтобы предсказать малютке славу и царскую власть, а повернули назад, ничем не выдав своего присутствия, и спустились вниз с холма.

«Неужели мы шли к нищим, столь же ничтожным и бедным, как мы сами? — говорили они. — Разве для того вел нас сюда Господь Бог,

чтобы мы предрекли сыну пастуха величие и славу? Этот ребенок всю свою жизнь будет пасти свое овечье стадо. Вот какой будет его судьба».

Засуха умолкла и покачала головой. Всем своим видом она как бы хотела сказать: «Не правда ли, на свете нет ничего бесплоднее, чем человеческое сердце!»

— Мудрецы недалеко ушли от того места, — продолжила Засуха свой рассказ, — когда им пришло в голову, что, возможно, они заблудились, сбились с пути, указанного им звездой. Они подняли глаза, чтобы снова найти по звезде истинный путь. Но оказалось, что звезда, за которой они следовали с востока, исчезла с небесного свода.

Трое чужеземцев вздрогнули при этих словах, их лица выражали глубокое страдание.

— И тут случилось нечто, — продолжала рассказчица, — по мнению людей, в высшей мере радостное. Когда мудрецы увидели, что на небе нет больше звезды, они тотчас же поняли, что согрешили пред Богом. И с ними сделалось то же, что делается с землей в осеннюю пору, когда начинаются сильные дожди. Они задрожали от ужаса, как земля содрогается от ударов молнии и раскатов грома, сердца их смягчились, смирение пробилось в их сердца, как пробивается весной

зеленая травка.

Три дня и три ночи бродили они по стране, чтобы отыскать младенца, которому должны были поклониться. Но звезда не показывалась им; они все больше и больше сбивались с пути, и все сильнее охватывали их величайшая скорбь и отчаяние. На третью ночь они подошли к этому вот колодцу, чтобы утолить жажду. И тогда Бог сжалился над ними и простил им их грех. Наклонившись над водой, они увидели глубоко внизу отражение звезды, приведшей их с востока.

Тотчас же увидели они ее и на небе, и звезда снова привела их к Вифлеемской пещере. Там они преклонили колени пред младенцем и сказали: «Мы приносим тебе золотые чаши, полные ладана и драгоценных благовоний. Ты будешь величайшим из царей, когда-либо правивших на земле от самого ее сотворения и до кончины мира».

Младенец положил свою ручку на их склоненные головы, и, когда они поднялись, оказалось, что он наделил их дарами, какими самый могущественный царь не мог бы одарить своих подданных. Ибо нищий старик обратился в цветущего юношу, прокаженный очистился, а негр стал прекрасным белолицым мужчиной.

И говорят, что по возвращении на родину они сделались царями, каждый в своей стране.

Засуха кончила свое повествование, и три чужеземца похвалили ее рассказ.

— Ты хорошо все рассказала, — говорили они.

— Но не странно, — сказал один из чужеземцев, — что эти три мудреца ничего не сделали для колодца, показавшего им звезду? Неужели они совершенно забыли о таком благодеянии?

— Не должен ли этот колодец, — поддержал его другой чужеземец, — постоянно оставаться на своем месте для напоминания людям о том, что счастье, утраченное на вершинах горы, можно вновь обрести в глубинах смирения?

— Неужели умершие хуже живущих? — сказал третий из них. — Разве благодарность умирает в сердцах тех, кто обитает в раю?

Когда они произнесли это, Засуха с воплем соскочила с колодца. Она узнала чужеземцев; она поняла, кто эти путешественники, и, как безумная, бросилась прочь, чтобы не видеть, как три мудреца подозвали своих слуг и подвели к колодцу своих верблюдов, нагруженных мехами, и бедный, умирающий колодец наполнили водой, привезенной ими из рая…

Вифлеемский младенец

В Вифлееме у городских ворот стоял на часах римский воин. На нем были латы и шлем; короткий меч висел у его пояса, а в руке он держал длинное копье. Целый день стоял он почти недвижимо, так что издали его можно было принять за железную статую. Горожане входили в ворота и выходили из них, нищие усаживались в тени под их сводами; продавцы фруктов и вина ставили рядом с воином свои корзины и бочонки, но он и головы не поворачивал, чтобы взглянуть на них.

«Что можно здесь увидеть? — как будто хотел он сказать. — Какое мне дело до этих торговцев и прочей человеческой мелюзги! Я хотел бы увидеть войско, готовое идти на врага! Ничто так не веселит мой взор, как картины войны. Я томлюсь по гулу медных труб, по блеску оружия, по кровавым следам победоносной битвы». Сразу же за городскими воротами начиналось великолепное поле, все заросшее белыми лилиями. Воин стоял здесь каждый день и мог постоянно любоваться их нежной красотой, но ему и в голову не приходило хоть раз обратить на них внимание. Порой он замечал, что прохожие останавливаются и

любуются лилиями, и тогда он изумлялся тому, что они тратят свое время на такие ничтожные вещи.

«Эти люди, — думал он, — не знают того, что действительно прекрасно».

И, думая так, он переносился мечтами в раскаленную пустыню знойной Ливии. Он видел легион солдат, выступающий длинной шеренгой по желтому песку, поглощавшему все следы. Нигде ни малейшей тени, чтоб укрыться от солнечных лучей, ни источника, чтоб утолить жажду. Пустыне не видно конца, солдаты, изнуренные жаждой и голодом, едва держатся на ногах. Они падают один за другим, словно сраженные палящим солнечным зноем. Но несмотря на все, войско упорно идет вперед, среди воинов нет предателей и дезертиров.

«Вот что прекрасно! — заключил про себя воин. — Вот что достойно внимания храброго мужа…»

Вокруг солдата играли дети, но и с ними было то же, что и с цветами. Дети не привлекали его сурового взора. «Чему тут радоваться? — думал он, когда видел, что люди улыбаются, глядя на детскую игру. — Странно, какие пустяки могут доставлять им удовольствие».

Однажды, когда воин, как обычно, стоял у городских ворот на своем посту, он увидел маленького мальчика, лет трех от роду, прибежавшего поиграть на луг. Это был ребенок из бедной семьи, и играл он совсем один. Солдат стоял и невольно следил за этим мальчиком.

Первое, что бросилось ему в глаза, было то, как легко малыш бегал по лугу, точно носился по верхушкам травинок. Но, присмотревшись к его играм, воин еще более изумился. «Клянусь своим мечом, — подумал он про себя, — этот ребенок играет совсем не так, как другие дети! Чем это он занимается?»

Вот мальчик протянул ручку, чтоб поймать пчелу, сидевшую в цветке и до того отягощенную цветочным нектаром, что она была уже не в силах улететь. К великому удивлению воина, пчела далась мальчику в руки, не пытаясь от него ускользнуть и не пуская в ход своего жала. Держа ее на ладошке, мальчик побежал к городской стене, в расщелине которой целый рой пчел устроил себе улей, и посадил ее туда. Оказав таким образом помощь одной пчеле, он тотчас же поспешил помочь другой. Весь день солдат наблюдал, как ребенок ловил пчел и помогал им вернуться в улей.

«Глупее этого мальчика я, право же, никого не видел, — думал про себя воин. — Зачем помогать пчелам, которые могут отлично сами о себе позаботиться, да вдобавок, того и гляди, ужалят его? Каким же он станет глупцом, когда вырастет!»

Малыш приходил на луг каждый день, а воин невольно продолжал удивляться ему и его играм. «Не странно ли это? — думал он. — Я уже целых три года стою на посту у этих ворот, и ничто так не привлекало моего внимания, как этот ребенок».

Но малыш возбуждал в воине далеко не радостные чувства. Наоборот, глядя на него, воин вспоминал страшные слова древнего иудейского пророка о том времени, когда на земле воцарится мир. Целое тысячелетие люди не будут проливать крови, не будут вести войн, а будут любить друг друга, как братья. Когда воин думал, что столь ужасное предсказание может осуществиться, дрожь пробегала по его телу, и, как бы ища опоры, он крепче сжимал свое копье.

И чем больше воин наблюдал за ребенком и за его играми, тем чаще думал он о царстве тысячелетнего мира. Конечно, он не боялся, что это царство наступит скоро, но ему не хотелось даже думать о том далеком будущем, которое может отнять у воинов шум и радость битвы.

Однажды, когда мальчик играл среди цветов на зеленом лугу, сильный дождь с шумом хлынул из тучи. Заметив, какие крупные и тяжелые капли падают на нежные лилии, малыш, по-видимому, встревожился за судьбу своих прелестных подруг. Он подбежал к самой крупной и самой прекрасной из них и пригнул к земле жесткий стебель, поддерживавший цветы, так что дождевые капли стали падать на нижнюю сторону венчиков. И, сделав так с одним цветком, он тотчас же поспешил к другому и таким же точно образом согнул его стебель, чтоб повернуть цветочные венчики к земле. А затем к третьему и четвертому, пока все цветы на лугу не были защищены от сильного дождя.

Воин смеялся про себя, следя за возней мальчика с цветами. «Боюсь, что лилии не будут ему благодарны за это, — думал он. — Все цветы, конечно, поломаны. Нельзя так сгибать эти жесткие стебли».

Но когда ливень наконец прекратился, воин увидел, что малютка бегает от одной лилии к другой и приподнимает их. К неописуемому изумлению солдата, ребенок выпрямлял жесткие стебли без малейшего труда, и ни один из них не был сломан или поврежден, так что вскоре

все спасенные лилии поднялись как ни в чем не бывало.

Когда воин увидел это, им овладели необъяснимый гнев и досада. «Что это за ребенок? — говорил он себе. — Что за бессмыслицу он придумал? Какой же мужчина выйдет из этого глупца, если он жалеет какие-то никчемные лилии? Что же он будет делать, если его пошлют на войну? Что сделает он, если ему прикажут поджечь дом с женщинами и детьми или пустить ко дну корабль, на котором вышел в море целый отряд?»

Снова пришло ему на память древнее пророчество, и он начал опасаться, что уже близится время, когда оно сможет осуществиться. Раз мог появиться на свет такой ребенок, значит, и это ужасное время не за горами. Если все люди отныне будут такими же, как этот ребенок, они не смогут навредить друг другу — они не решатся погубить пчелу или цветок. Не будет больше великих подвигов, не будет славных побед, и ни один блистательный триумфатор не поднимется уже на Капитолий. И в мире не будет ничего, о чем мог бы мечтать храбрец.

И солдат, грезивший о новых войнах и мечтавший своими подвигами добиться власти и богатства, почувствовал такое раздражение про-

тив этого трехлетнего малыша, что, когда тот пробежал мимо, погрозил ему копьем.

Однажды стоял особенно жаркий день. Солнечные лучи, падая на шлем и на латы воина, превратили их в огненные доспехи. Глаза его налились кровью, губы пересохли, но привыкший стойко выдерживать палящий зной африканских пустынь солдат мужественно переносил страдания, и ему и в голову не приходило оставить свой пост. Ему было даже приятно показать прохожим, как он силен и вынослив.

Когда он так стоял в карауле, чуть не сгорая заживо в этом пекле, мальчик вдруг подошел к нему. Он прекрасно знал, что солдат его недолюбливает, и обыкновенно держался на почтительном расстоянии от его копья, но теперь он все-таки приблизился к нему, долго и пристально смотрел на него и затем бросился бегом по дороге. Скоро он вернулся. Обе ручки его были сложены в виде чашечки, в ней он нес немного воды.

«Неужели этому ребенку пришло в голову бежать за водой для меня? — подумал солдат. — Какая глупость! Римскому ли легионеру не вынести легкого зноя! Зачем этому малышу лезть со своей помощью к тем, кто вовсе в ней не нуждается? Не хочу я его милосердия. Я желал бы, чтобы мир

избавился от него и от всех ему подобных».

Мальчик шел очень тихо, крепко сжимая пальчики, чтоб не расплескать и не пролить ни капли. Подходя к солдату, он не спускал глаз с воды, которую нес, а потому и не видел, что тот стоит, сердито нахмурив лоб и враждебно глядя на него.

Наконец мальчик остановился перед солдатом и, улыбнувшись, протянул ему пригоршню с водой.

Но солдат не желал принимать благодеяние от этого ребенка, которого считал своим врагом. Он не глядел на его прелестное личико и продолжал стоять, суровый и неподвижный, делая вид, что не замечает намерений малыша.

Ребенок все так же доверчиво улыбался. Он встал на цыпочки и поднял ручки так высоко, как только мог, чтоб рослому солдату легче было напиться.

Легионер почувствовал такое унижение при одной мысли, что ему хочет помочь слабый ребенок, что он даже замахнулся на мальчика копьем. Но тут жара сделалась такой невыносимой, что красные круги пошли у солдата перед глазами, и он почувствовал, что теряет сознание. Он ужаснулся, что может умереть от солнечного удара,

и, вне себя от страха, бросил копье на землю, схватил обеими руками ребенка, приподнял его и выпил воду из его пригоршни.

Лишь несколько капель попало ему на язык, но больше ему и не было нужно. Как только он отведал воды, сладостная прохлада пробежала по его телу, он не чувствовал больше, что шлем и латы сжигают его. Лучи солнца утратили свою смертоносную силу. Пересохшие губы его снова сделались мягкими, и красные круги перестали пламенеть перед его глазами.

Едва успев опомниться, он спустил ребенка на землю, и тот снова побежал играть на лугу. Только теперь солдат пришел в себя и подумал: «Что за воду этот ребенок принес мне? Это поистине чудодейственный напиток. Мне бы следовало сказать малышу спасибо».

Но он так ненавидел мальчика, что отогнал от себя эту мысль.

Он даже еще больше вознегодовал на ребенка, когда спустя несколько минут увидел в воротах начальника римских войск, стоявших в Вифлееме. «Подумать только, — мелькнуло у него в голове, — какой опасности я подвергался из-за дерзкой выдумки этого мальчишки! Если бы Вольтигий пришел одной только секундой рань-

ше, он застал бы меня на посту с ребенком на руках».

А начальник пришел сообщить солдату важную государственную тайну.

— Ты ведь знаешь, — сказал начальник, отведя солдата в сторону, чтобы их никто не услышал, — что царь Ирод уже много раз пытался найти одного ребенка, живущего здесь, в Вифлееме. Пророки и первосвященники предсказали царю, что этот мальчик унаследует его престол и положит начало тысячелетнему царству святости и мира. Поэтому Ироду очень хотелось бы избавиться от этого ребенка.

— Я понимаю, — с жаром откликнулся воин, — но ведь нет ничего проще, чем схватить этого мальчишку.

— Это было бы легко, — сказал военачальник, — если б только царь знал, к которому из всех младенцев Вифлеема относится это предсказание.

Лоб воина прорезали глубокие морщины.

— Жаль, — огорчился он, — что прорицатели не могут дать ему точных указаний.

— Но теперь царь Ирод придумал хитрость, при помощи которой рассчитывает обезопасить себя от малолетнего соперника, — продолжал военa-

чальник. — Он обещает щедро одарить всякого, кто поможет ему в этом деле.

— Все, что прикажет Вольтигий, будет исполнено без ожидания награды или оплаты, — отчеканил солдат.

— Тогда слушай, что задумал царь. В день рождения своего младшего сына Ирод устраивает праздник, на который будут приглашены вместе со своими матерями все вифлеемские мальчики в возрасте от двух до трех лет. И на этом празднике… — Тут Вольтигий оборвал свою речь и долго шептал что-то солдату на ухо, а когда закончил, прибавил уже громко: — Мне, конечно, не надо говорить тебе, что ты ни словом не смеешь обмолвиться об услышанном.

— Ты знаешь, Вольтигий, что ты можешь на меня положиться, — ответил солдат.

Когда начальник удалился и воин снова остался один на своем посту, он стал искать глазами ребенка. Тот по-прежнему играл среди цветов — легко и красиво, как мотылек. Вдруг воин рассмеялся.

«Этому ребенку осталось недолго мозолить мне глаза. Он тоже будет приглашен сегодня вечером к Ироду на праздник».

Воин оставался на карауле, пока не настал

вечер и не пришло время запирать городские ворота на ночь.

Тогда он направился узкими и темными улицами к роскошному дворцу Ирода в Вифлееме.

Внутри этого громадного дворца был большой мощеный двор, окруженный тремя открытыми галереями. На верхней из них царь и распорядился устроить праздник для вифлеемских детей. Эта галерея по повелению царя превращена была в чудесный сад.

По крыше вились виноградные лозы, с которых свешивались тяжелые, спелые гроздья, вдоль стен и колонн стояли маленькие гранатовые и апельсиновые деревья, ветви которых сгибались от тяжести плодов. Полы были усыпаны лепестками роз, образовавшими густой и мягкий ковер, а по балюстрадам, по карнизам крыши, по столам и низким скамейкам вились гирлянды ослепительно белых лилий.

Среди этой рощи прятались мраморные бассейны, в прозрачной воде которых играли золотые и серебряные рыбки. По деревьям порхали разноцветные заморские птицы, а в клетке каркал без умолку старый ворон.

К началу праздника в галерею стали собираться гости. При самом входе во дворец малюток

наряжали в белые одежды с пурпурной каймой, а на их тем-нокудрые головки надевали венки из роз. Женщины величественно выступали в своих алых и голубых одеждах, в белых покрывалах, спускавшихся с высоких, остроконечных головных уборов, украшенных золотыми монетами и цепочками. Одни несли детей на плече, другие вели их за руку, а самых маленьких и робких матери держали на руках.

Женщины опустились на пол посреди галереи. Как только они уселись, явились рабы и расставили перед ними низенькие столики с изысканными яствами и напитками, как это принято на царских пиршествах, и все эти счастливые матери начали есть и пить, сохраняя горделивое достоинство, составляющее главную прелесть вифлеемских женщин.

Вдоль самых стен галереи, почти скрытые гирляндами цветов, были выстроены в два ряда воины в полном вооружении. Они стояли совершенно неподвижно, как будто им не было никакого дела до того, что происходит вокруг. Конечно, женщин не могло не удивлять полчище одетых в железо людей.

— К чему они тут? — шептали они друг другу. — Неужели Ирод воображает, что мы не умеем

прилично вести себя? Или он думает, что для наблюдения за нами нужно такое множество воинов?

Но другие шептали в ответ, что таков обычай, что вооруженные легионеры несут свой караул, чтобы выказать особый почет гостям царя Ирода.

В первые минуты празднества малютки были застенчивы и неуверенны; притихнув, они жались к матерям. Но скоро они оживились и потянулись ко всем чудесам, приготовленным для них Иродом.

Сказочную страну создал царь для своих маленьких гостей. Проходя по галерее, они находили ульи, и ни одна сердитая пчелка не мешала детям забирать оттуда мед. Им попадались деревья, склонявшие к ним свои отягченные плодами ветви. В одном уголке они нашли чародеев, в один миг наполнивших их карманы игрушками, а в другом — укротителя диких зверей, показавшего им двух тигров, таких ручных, что дети могли на них кататься верхом.

Однако в этом раю со всеми его чудесами ничто не привлекало такого внимания детей, как длинный ряд воинов, стоявших неподвижно вдоль стен галереи. Их блестящие шлемы, их строгие,

гордые лица, их короткие мечи, вложенные в богато украшенные ножны, приковывали к себе взоры мальчиков.

Играя и шаля, малыши не переставали следить за воинами. Они еще держались на почтительном расстоянии от них, но страстно хотели подойти к ним поближе, чтоб посмотреть, живые ли это люди и могут ли они двигаться.

Игры и праздничное веселье делались с каждой минутой все оживленнее, но солдаты стояли все так же неподвижно. Малышам казалось невероятным, чтоб люди могли стоять так близко от виноградных гроздьев и всех других лакомств и совсем этим не интересоваться.

Но вот один из детей оказался не в силах сдержать свое любопытство. Готовый каждую секунду обратиться в бегство, он приблизился к одной из закованных в латы фигур. Солдат оставался по-прежнему неподвижным. Тогда мальчик подошел к нему еще ближе и наконец очутился так близко от него, что мог потрогать его одежду и ремни его сандалий.

И вдруг, как будто это прикосновение ребенка было неслыханным преступлением, все железные статуи сразу ожили. В неописуемом бешенстве накинулись они на детей и стали

хватать их. Одни размахивали ими над головой и сбрасывали через перила галереи вниз, где дети находили себе смерть, ударяясь о мраморные плиты. Другие обнажали мечи и пронзали ими сердца малышей, третьи разбивали им головки о стены, а потом швыряли их на объятый ночною тьмою двор.

В первую минуту после нападения наступила мертвая тишина. Женщины окаменели от ужаса.

Но уже в следующий миг эти несчастные поняли, что произошло, и с диким воплем отчаяния бросились на воинов-палачей.

Вверху, на галерее, еще оставалось несколько детей, которых не схватили при первом натиске. Солдаты погнались за ними, а матери бросались на колени перед извергами и голыми руками ловили их обнаженные мечи, чтоб отвратить смертельный удар. Некоторые женщины, дети которых были уже бездыханны, бросались на воинов, хватали их за горло и пытались задушить их, чтобы отомстить за своих малюток.

Среди этого дикого смятения и жесточайшего кровопролития солдат, державший обыкновенно караул у городских ворот, стоял совершенно неподвижно у начала лестницы, ведущей вниз с галереи. Он не принимал участия в нападении

и в убийствах; он поднимал свой меч только на тех женщин, которые, прижав к себе уцелевших детей, пытались спастись бегством, — и один его вид, мрачный и непреклонный, вселял в них такой страх, что они кидались вниз через перила или поворачивали назад. «Вольтигий был прав, назначив меня на этот пост, — думал солдат. — Какой-нибудь молодой, легкомысленный воин покинул бы свое место и вмешался бы в общую свалку. Поддайся я соблазну и уйди отсюда, по меньшей мере дюжина детей ускользнула бы от расправы».

Вдруг его внимание привлекла молодая женщина, которая, прижав к себе своего ребенка, стремительно приближалась к нему.

Ни один из легионеров, которых она миновала, не успел ее остановить, занятый другими жертвами, и таким образом ей удалось добежать до самого конца галереи.

«Одна все-таки чуть было не спаслась! — подумал воин. — Ни она, ни ребенок пока не ранены. И если бы не я…»

Женщина так быстро бежала навстречу солдату, что казалось, будто она летит на крыльях, и он не успел разглядеть ни ее лица, ни ребенка. Он только направил на них свой меч, и с ребенком

на руках она устремилась прямо на него. Воин ожидал, что в следующий же миг и она, и ее дитя, насквозь пронзенные, упадут на землю.

Но в эту минуту он вдруг услышал над своей головой злобное жужжание и тотчас же почувствовал сильную боль в глазу. Эта боль была такой нестерпимой, что совершенно ошеломила его, и меч выпал из его рук.

Он схватился рукой за глаз, поймал пчелу и понял, что это она причинила ему столь ужасное страдание. Мгновенно нагнулся за мечом, надеясь, что еще сможет остановить беглецов.

Но маленькая пчелка прекрасно сделала свое дело. За несколько коротких мгновений молодая мать сбежала по лестнице, и, хотя он бросился вдогонку, ему не удалось схватить ее. Она исчезла.

* * *

На следующее утро все тот же воин стоял на карауле у самых городских ворот. Было еще рано, и тяжелые ворота только что открыли. Но казалось, никто не ожидал, что ворота откроют в это утро, — все жители Вифлеема словно оцепенели от ужаса после ночной кровавой бойни, и никто не решался выйти из дому.

«Клянусь своим мечом! — сказал солдат, пристально вглядываясь в узкую улочку, ведущую к воротам. — Вольтигий распорядился неразумно. Лучше было бы оставить ворота на запоре и обыскать все дома в городе, пока не был бы найден мальчик, которому удалось ускользнуть живым с праздника. Вольтигий думает, что родители постараются увезти его из города, как только узнают, что ворота открыты, и он надеется перехватить их здесь. Но боюсь, что это неверный расчет. Ведь ребенка можно легко спрятать!»

И он старался угадать, попытаются ли родители спрятать ребенка в корзине с фруктами или в каком-нибудь громадном кувшине для масла или провезут его в караване среди тюков.

Обдумывая, как его попытаются перехитрить, воин вдруг увидел мужчину и женщину, торопливо приближающихся к воротам. Остерегаясь опасности, они боязливо озирались по сторонам. Мужчина нес в руках топор и держал его так крепко, точно решился с его помощью проложить себе путь, если кто-нибудь вздумает остановить его.

Но внимание воина привлекла женщина. Ее высокая фигура напомнила ему молодую мать, ускользнувшую от него накануне. Он заметил также, что она перекинула через плечо край сво-

ей накидки. Быть может, она сделала это, чтобы скрыть под одеждой своего ребенка?

Чем ближе они подходили, тем отчетливей становился виден ребенок, которого женщина несла под одеждой. «Я уверен, что это именно она спаслась вчера, сбежав по лестнице, — думал солдат. — Я не видел ее лица, но я узнаю ее высокую фигуру. И вот она идет с ребенком на руках, даже не пытаясь как следует его спрятать. Я даже не смел надеяться на такой счастливый случай!»

Мужчина и женщина уже подошли к воротам. Они, очевидно, не ожидали, что их здесь остановят, и вздрогнули от испуга, когда воин заградил им путь своим копьем.

— Почему ты не даешь нам выйти на работу в поле? — спросил мужчина.

— Сейчас пройдешь, — сказал солдат, — но сначала я проверю, что прячет твоя жена под своим покрывалом.

— Чего же тут смотреть? — возразил мужчина. — Это всего лишь хлеб и вино нам на пропитание.

— Может быть, ты и правду говоришь, — сказал солдат. — Но почему же твоя жена отворачивается и не хочет показать их мне?

— Я не хочу, чтобы ты нас обыскивал, — сказал

мужчина. — И советую тебе нас пропустить.

С этими словами он занес над головой свой топор, но женщина тронула его за руку.

— Успокойся! — взмолилась она. — Я покажу ему свою ношу и уверена, что он не причинит нам никакого зла.

И с гордой и доверчивой улыбкой женщина обернулась к солдату и отвернула край своей одежды.

* * *

Несколько дней спустя воин медленно ехал ужасной каменистой пустыней, расположенной в южной части Иудеи. Он все еще продолжал преследовать трех вифлеемских беглецов и был вне себя оттого, что его поискам, похоже, не видно конца.

— Да они как сквозь землю провалились, — ворчал он про себя. — Сколько раз я уже был так близко от них, что готовился бросить в ребенка камнем, и они снова от меня ускользали! Я начинаю думать, что мне никогда не удастся их нагнать.

И легионер стал уже терять мужество, как человек, который борется с чем-то, что выше его сил. Ему начинало казаться, что сами боги защищали

от него этих людей.

«Все это напрасный труд. Лучше бы мне вернуться, пока я еще не погиб от голода и жажды в этой дикой стране!» — все чаще говорил он себе.

Но и возвращение не сулило ему ничего хорошего. Ведь он уже два раза упустил младенца. А этого царь Ирод ему не простит.

«Пока Ирод знает, что один из вифлеемских младенцев еще жив, ему не будет покоя, — говорил себе воин. — Всего вероятней, что он попытается облегчить свои мучения тем, что прикажет распять меня на кресте».

Был знойный полдень, и воин ужасно страдал, пробираясь верхом по пустынной, гористой местности, где дорога извивалась в глубоком ущелье, куда не долетало ни малейшего ветерка. И конь, и всадник были готовы упасть без сил.

Воин давно уже потерял всякий след беглецов и совсем пал духом.

Но вдруг он заметил в одной из скал, возвышавшихся близ дороги, сводчатый вход в пещеру. Он остановил коня и подумал: «Отдохну здесь немного. Может быть, с новыми силами я смогу продолжить погоню».

Когда он уже хотел войти в пещеру, его поразило нечто удивительное. По обеим сторонам входа

росли два прекрасных куста лилий. Они стояли, высокие и стройные, густо усыпанные цветами, испускавшими сладкий запах меда, и множество пчел носилось и жужжало вокруг них.

Это было такое необыкновенное зрелище, что воин неожиданно для самого себя сорвал один из крупных белых цветов и взял его с собой в пещеру.

Пещера была не глубока и не темна, и, как только он вошел под ее свод, он увидел, что там уже находятся трое путников. Это были мужчина, женщина и ребенок, которые лежали на земле, погрузившись в глубокий сон.

Сердце воина забилось как никогда сильно при этом зрелище. Это были именно те беглецы, которых он так долго преследовал. Он тотчас же узнал их. И вот они лежали и спали, совершенно беззащитные, находясь всецело в его власти.

Быстро выхватил солдат меч из ножен и нагнулся над спящим младенцем.

Осторожно направил он меч в сердечко ребенка, намереваясь покончить с ним одним ударом.

Уже готовясь заколоть его, он остановился на миг, чтобы взглянуть в лицо младенцу. Теперь, когда он был уверен в победе, он захотел доставить себе жестокое наслаждение и посмотреть

на свою жертву. Радость его еще усилилась, когда он узнал в ребенке крошечного мальчика, игравшего на его глазах с пчелами и лилиями на лугу у городских ворот.

«Недаром я всегда ненавидел его, — подумал солдат. — Ведь это князь мира, появление которого предвещали пророки».

Снова опустил он меч, и у него мелькнула мысль: «Когда я положу пред Иродом голову этого ребенка, он сделает меня начальником своих телохранителей».

Все более приближая острие меча к спящему младенцу, он ликовал в душе, говоря себе: «На этот раз никто мне не помешает, никто не вырвет его из моей власти».

Но солдат все еще держал в руке лилию, сорванную им при входе в пещеру, и вдруг из ее венчика вылетела пчела и стала с жужжанием кружиться над его головой.

Воин вздрогнул. Он вспомнил пчел, которых маленький мальчик относил в их родной улей, и ему пришло в голову, что одна из этих пчел помогла мальчику спастись на празднике, устроенном Иродом.

Эта мысль поразила его. Он опустил меч, выпрямился и стоял, прислушиваясь к пчеле.

Ее жужжание наконец прекратилось. Солдат продолжал стоять неподвижно и все сильнее ощущал сладкий аромат, струившийся из лилии, которую он держал в руке.

Этот аромат напомнил ему о цветах, которые мальчик спасал от дождя, и о том, что букет лилий скрыл от его взоров ребенка и дал ему спастись через городские ворота.

Он все больше задумывался и отвел в сторону свой меч.

— Пчелы и лилии отблагодарили мальчика за его благодеяния, — шепнул он сам себе.

Он припомнил, что и ему однажды помог этот ребенок, и густая краска стыда залила его лицо.

— Может ли римский легионер забыть об оказанной ему услуге? — прошептал он.

Некоторое время он еще боролся с собой. Он думал об Ироде и о собственном своем желании уничтожить юного владыку мира.

«Мне не следует убивать этого младенца, спасшего мне жизнь», — решил он наконец.

И он нагнулся и положил свой меч возле ребенка, для того чтобы при пробуждении беглецы поняли, какой опасности им удалось избежать.

В это время ребенок проснулся. Он лежал и смотрел на солдата своими прекрасными очами,

сиявшими, как звезды.

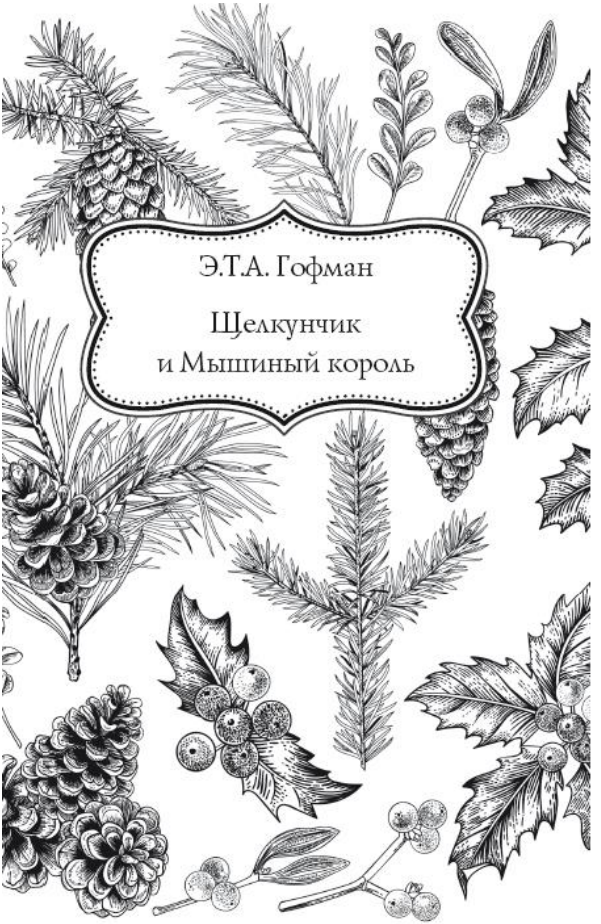
И воин преклонил перед ним колени.

— Владыка! — произнес он. — Ты всесилен. Ты могучий победитель. Ты любимец богов. Ты тот, кто может спокойно попирать змей и скорпионов.

Он поцеловал его ножку и тихо вышел из пещеры.

Мальчик же лежал и смотрел ему вслед большими удивленными глазами.

Э.Т.А. Гофман


Э.Т.А. Гофман
Щелкунчик
и Мышиный король

Щелкунчик и Мышиный король
(Перевод А. Соколовского)



Сочельник

Целый день двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети, Мари и Фриц, сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрал-

ся маленький закутанный человек с ящиком в руках, но что он, впрочем, наверное знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:

— Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное.

Друг дома советник Дроссельмейер был очень некрасив собой; это был маленький, сухощавый старичок, с множеством морщин на лице; вместо правого глаза был у него налеплен большой черный пластырь; волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник, и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал свой парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копаться в часах какими-то острыми палочками, так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крестный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот, — и часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все

окружающие, глядя на них, только радовались. Крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям: то куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка, — словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.

— Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный? — повторила маленькая Мари.

Фриц уверял, что крестный, наверно, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять, но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.

— Нет, нет, — сказала Мари, — крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки, а потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами.

— Лебеди конфет не едят, — перебил Фриц, — да

и как может крестный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают; то ли дело игрушки, которые дарят папа и мама! Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим.

Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трудхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а о чистоте ее платья нечего было и говорить; как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостает хорошей гнедой лошади, да и вообще у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно.

Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки; знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила

детям, которые все еще шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос и что Он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие, а потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а, напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»

Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово, им казалось, что будто над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света; дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик: «Динь-динь-динь-динь!» Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами:

— Ну, детки, пойдемте смотреть, чем одарил вас младенец Христос!

Подарки

Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, — Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали, — и прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками, — и тогда ты хорошо поймешь радость Мари и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку! Мари только воскликнула:

— Ах, как хорошо! Как чудно!

А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек.

Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль и великое множество разных лакомств унизывали ветви стоявшей посередине елки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки, и, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами

и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой — трудно и описать! Для Мари были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством, но больше всего ее обрадовало шелковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей, так что Мари могла любоваться им со всех сторон.

— Ах, мое милое платьице! — в восторге воскликнула Мари. — Ведь оно точно мое? Ведь я его на-дену?

Фриц между тем уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь — лютый зверь, ну да ничего: уж он его вышколит! Потом он занялся эскадроном новых гусар в ярко красных, с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабельками и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра.

Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же, и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы,

а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что, казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это, значит, пришел черед подаркам крестного Дроссельмейера, и они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись, — и что же увидели дети! На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзольчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного Дроссельмей-ера, в зеленом плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный за-

мок с танцующими фигурками, а потом сказал:

— Крестный, крестный! Позволь мне войти в этот замок!

Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя, и он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который со всеми его золотыми башенками был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал.

Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:

— Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей!

— Этого тоже нельзя, мой милый Фриц, — возразил крестный.

— Ну так вели ему, — продолжал Фриц, — гулять и танцевать с прочими, а не высовываться.

— И этого нельзя, — был ответ.

— Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз; я хочу их рассмотреть поближе.

— Ничего этого нельзя, — ответил немного обиженный крестный, — в механизме все сделано раз и навсегда.

— Во-о-т как, — протяжно сказал Фриц. — Ну,

если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо! Мои гусары лучше! Они умеют ездить вперед и назад, как я захочу, а не заперты в доме.

С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что и ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выделывали все одно и то же; она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном:

— Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок!

Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного, душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им

рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Мари, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором, ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили.

Любимец

Мари никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куколка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный: невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка с множеством пуговок и шнурков, такие же рейтузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что, казалось, были выточены вместе с ними. Толь-

ко вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейер носил такой же плащ и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крестным. Мари отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ.

— Ах, — воскликнула Мари, — кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой?

— Это вам всем, милые дети, — отвечал папа, — и тебе, и Луизе, и Фрицу; он будет для всех вас щелкать орехи.

С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот,

показав два ряда острых, белых зубов. Мари положила ему в рот орех; человечек вдруг сделал — щелк! — и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилось белое, вкусное ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.

— Ну, Мари, — сказал папа, — так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе; береги его и защищай; хотя, впрочем, в его обязанность входит щелкать орехи и для Фрица с Луизой.

Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы.

Луиза подсела к ней, и добрый Щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходившей с его губ.

Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услыхав, как весело щелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигуру Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые

большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось — крак-крак! — и три белых зуба Щелкунчика упали на пол, да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.

— Ах, мой бедный Щелкунчик! — заплакала Мари, отобрав его у Фрица.

— Э, да какой он глупый! — закричал Фриц. — Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов! На что же он годен? Давай его мне, я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок!

— Нет, нет, оставь, — со слезами сказала Мари, — я тебе не дам моего милого Щелкунчика, посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик! Ты злой мальчик: ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат.

— Потому что так надо, — возразил Фриц, — и ты в этом ничего не смыслишь; а Щелкунчика все-таки дай мне; его подарили нам обоим!

Тут Мари уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:

— Я поручил Щелкунчика беречь Мари, а так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать!

Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари между тем собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки:

— Как знать, крестный, был бы ты таким кра-

сивым, как Щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки.

Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос, но уж, верно, была какая-нибудь на то своя причина.

Чудеса

В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево, у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой

нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трудхен, устроила премиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари (ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали также Мари), — итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая, чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен.

Между тем наступил поздний вечер; стрелка часов показывала двенадцатый; крестный Дроссель-мейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом, так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.

— Правда, правда, — сказал Фриц, — надо дать

покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняг не посмеет лечь, пока я тут, я это знаю хорошо.

С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, нисколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом.

— Приходи же скорей, Мари, — сказала мама, уходя в свою комнату, — если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать.

Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило, и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной Щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он,

казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.

— Ах, мой милый Щелкунчик! — сказала она. — Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил; Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы, и все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо; он на такие штуки мастер…

Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера Щелкунчик вдруг скривил лицо и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо Щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение.

— Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я все-таки люблю Щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует.

Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:

— Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному Щелкунчику, а тебя я уложу

на диван; ведь ты здорова; посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван.

Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки.

— И чего я церемонюсь! — сказала Мари и, взяв кроватку, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.

«Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен», — подумала Мари и кровать вместе с лежавшим на ней Щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать, но тут — слушайте внимательно, дети! — тут за печкой, за стульями, за шкафами — словом, всюду вдруг послышались тихий, тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую, кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:

— Хррр…р! Часики идите! — тише, тише не шумите! — король мышиный к вам идет! — войско свое ведет! — хрр…р — хрр-р! бим-бом! — бейте, часики, бим-бом!

И затем, мерно и ровно, часы пробили двенадцать. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать, но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер и, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими, точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах:

— Крестный! Крестный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный!

Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон, точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей, под карнизами, выглянули множество блестящих, маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а, напротив, крошечные сверкавшие глазки, и Мари увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот-трот! Хлоп-хлоп! — так и раздавалось по комнате.

Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами, и наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становится в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял

своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети, и прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у Мари по жилам. Ах! Что она увидела! Нет, любезный читатель Фриц! Хотя я и уверен, что у тебя, так же как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце, все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверно, убежал бы со всех ног, прыгнул в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого! Вы только послушайте, дети! Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков известки, песка и камешков, словно от подземного толчка, и вслед за тем выглянуло целых семь мышиных голов с золотыми коронами, и — представьте — все эти семь голов сидели на одном туловище! Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась наконец из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышиного войска, которое встречало ее с громким, торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была

очень напугана — сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет, но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось: клик-клак-хрр!.. — и стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца: она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы.

Но что же это опять? В шкафу, за спиной Мари, поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали:

— В бой, в бой! Бей тревогу! Ночью в бой, ночью в бой! Бей тревогу!

И вместе с этим раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.

— Ах, это колокольчики в игрушке крестного, — радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые. Куклы стали

беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мочь: «Крак, крак! Мышиный король дурак! Крак, крак! Дурак! Дурак!»

При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать:

— Эй вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?

Тут подбежали к нему три паяца, Полишинель, трубочист, два тирольца с гитарами, барабанщик и хором воскликнули:

— Да, принц! Клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!

С этими словами они все, вместе с Щелкунчиком, спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо! На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись, а каково было спрыгнуть, почти на два фута вниз, бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверно, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.

— Ах, моя милая, добрая Клерхен! — воскликнула Мари. — Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель Щелкунчику.

Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила:

— О принц! Неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Останьтесь! Лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернутся с победой ваши храбрые вассалы! Паяц, Полишинель, трубочист, тиролец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, останьтесь со мной!

Так говорила Клерхен, но Щелкунчик вел себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:

— О сударыня! Верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости!

Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях Щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:

— Нет, сударыня, нет, не этим! — И, сорвав лен-

ту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой.

Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари и только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то, что та была очень красива и сверкала. Доброму, верному Щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари!

Однако что-то будет, что-то будет!

Едва Щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная, густая толпа собралась под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами!

Что-то будет! Что-то будет!

Сражение

— Бей походный марш, барабанщик! — громко крикнул Щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задро-

жали стекла в шкафу.

Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мари увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска Фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, впопыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.

— Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места! — крикнул он сердито и затем, обратясь к побледневшему Полишинелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал:

— Генерал! Я знаю вашу храбрость и опытность; вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты! Я поручаю вам командование всей кавалерией и артиллерией; самому вам лошади не надо, у вас такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих. Исполняйте же вашу обязанность!

Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и сто трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались из шкафа ему в ответ; кирасиры, драгуны, а главное — новые, блестящие гусары Фрица, вскочив на лошадей,

мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, предводительствуемая Щелкунчиком, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум! Бум! — раздался первый залп, и Мари увидела, как ядра из драже полетели в самую гущу мышей, обсыпав их добела сахаром, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твердых, круглых пряников, от которых они с писком разбеглись в разные стороны.

Однако основная их масса придвигалась все ближе и ближе, и даже некоторые пушки были уже ими взяты, но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражались с необыкновенной храбростью и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все прибывали, и их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трудхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.

— О неужели я должна умереть вот так, во цвете лет! Я! Самая красивая кукла! — воскликнула Клерхен.

— Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах! — перебила Трудхен; и, бросившись друг другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения.

А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить! Прр…р! Пиф-паф, пуф! Трах, тарарах! Бим, бом, бум! — так и раздавалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду слышались крик и визг Мышиного короля и его мышей да грозный голос Щелкунчика, раздававшего приказания и храбро ведшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувядаемой славой, но вдруг гусары Фрица были забросаны артиллерией мышей отвратительными, зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был скомандовать им отступление и, вдохновясь ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, а наконец, и самому себе, так что вся кавалерия, обернув-

шись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность стоявшую на маминой скамейке батарею; и действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку, так что пушки, артиллеристы, прислуга — словом, все покатилось по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты, без сомнения знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство, и я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного, так любимого Мари Щелкунчика. Но погоди! Позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке, и надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца. В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и, вдруг выскочив оттуда, с гиком и свистом бросился на левый фланг Щелкунчика, но какое же сопротивление встретили они! С быстротой, какую только позволяла труднопроходимая местность, — надо было перелезать через порог шкафа, — мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух

китайских императоров и построился в каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, арлекинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян и т. п., с истинно спартанской храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий, необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову, а тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота. Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и для мышей; как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, от чего он умирал на месте. Но все это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа. «Резервы! Скорее резервы! Полишинель! Паяц! Барабанщик! Где вы?» — так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его дей-

ствительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам, с золотыми лицами, шляпами и шлемами, но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а, напротив, сбили шляпу с самого Щелкунчика. Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхен и Трудхен лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:

— Коня! Коня! Полцарства за коня!

В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ; Мышиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мари, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:

— О мой бедный Щелкунчик! — и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей.

В тот же миг все словно прахом рассыпалось; Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок.

Болезнь

Очнувшись, точно от тяжелого сна, Мари увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон.

Возле нее сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько:

— Ну вот, она очнулась.

Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом.

— Ах, милая мамочка! — залепетала Мари. — Скажи пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасен ли мой милый Щелкунчик?

— Полно, Мари, болтать всякий вздор, — сказала мама, — какое дело мышам до твоего Щелкунчика? Ты уж без того напугала нас всех; видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и

задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала. Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку, и если бы господин Венделыптерн не вынул тебе из раны кусочков стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и истечь кровью, а то и лишиться руки. Слава богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу, возле шкафа, всю в крови и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики Фрица, пряничные куклы и знамена; Щелкунчика держала ты на руках, а твой башмачок лежал посредине комнаты.

— Ах, мама, мама! Вот видишь! Это были следы сражения кукол с мышами, и я испугалась потому, что мыши хотели взять в плен Щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом.

Хирург Венделыптерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо:

— Хорошо, хорошо! Пусть будет так, только успокойся. Всех мышей прогнали, а Щелкунчик, веселый и здоровый, стоит в твоем шкафу.

Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной.

Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь Щелкунчик ее спасся, но нередко во сне она слышала его голос, который говорил: «О моя милая, прекрасная Мари! Как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать!»

Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла, из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дождаться сумерек, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки.

Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер со словами:

— Ну-ка дайте мне посмотреть на нашу бедную,

больную Мари!

Мари, как только увидела крестного в его желтом сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда Щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:

— Крестный, крестный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтоб они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал Мышиного короля! Зачем ты не помог Щелкунчику, не помог мне, гадкий крестный? Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!

— Что с тобой, Мари? — спросила мама с испуганным лицом; но крестный вдруг скорчил какую-то престранную гримасу и забормотал нараспев:

— Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Бейте часики тик-тук! Тик да тук, да тик да тук! Бим-бом, бим-бам! Клинг-кланг, клинг-кланг! Бейте часики сильней! Прогоните всех мышей! Хинк-ханк, хинк-ханк! Мыши, мыши, прибегайте! Глупых девочек хватайте! Клинг-кланг, клинг-кланг! Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Прр-пурр, прр-пурр! Шнарр-шнурр, шнарр-шнурр!

Мари широко открытыми глазами уставилась

на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками, точно картонный плясун, когда его дергают за веревочку. Мари стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера.

— Крестный, крестный! — закричал он. — Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку.

Мама закусила губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:

— Послушайте, советник, что это, в самом деле, за неуместные шутки?

— О господи, — рассмеялся советник, — разве вы не знаете моей песенки часовщика? Я ее всегда напеваю таким больным, как Мари.

Тут он сел к Маше на кровать и сказал:

— Ну, ну, не сердись, что я не выцарапал Мышиному королю его все четырнадцать глаз. За это я тебя теперь порадую.

С этими словами крестный полез в карман, и что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика! Милого Щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разби-

тую челюсть.

Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:

— Видишь, как крестный любит твоего Щелкунчика.

— Ну само собой, — возразил крестный, — только знаешь что, Мари, теперь у твоего Щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Пирлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?

— Послушай, крестный, — внезапно перебил Фриц, — зубы Щелкунчику ты вставил и челюсть починил, но почему же нет у него сабли?

— Ну ты, неугомонный! — проворчал советник. — Тебе нужно все знать и во все совать свой нос; какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам где хочет!

— Правильно! — закричал Фриц. — Если он храбр, то добудет себе оружие.

— Ну так что же, Мари, — продолжил советник, — знаешь ты или нет историю про принцессу Пирлипат?

— Ах, нет, нет, милый крестный, — отвечала

Мари, — расскажи мне ее, пожалуйста.

— Я надеюсь, советник, — сказала мама, — что история эта не будет очень страшной, как обыкновенно бывает все, что вы рассказываете.

— О, нисколько, дорогая госпожа Штальбаум, — возразил советник, — напротив, она будет очень забавной.

— Рассказывай, крестный, рассказывай, — воскликнули дети, и советник начал так:

Сказка о крепком орехе

Мать принцессы Пирлипат была женой короля, а потому Пирлипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около ее люльки на одной ноге, приговаривая:

— Гей-да! Видал ли кто-нибудь девочку милее моей Пирлипатхен?

И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:

— Не видали, не видали!

И это не было ложью, потому что, действительно, трудно было найти во всем свете ребенка прелестнее новорожденной принцессы. Личико

ее было, точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз, глазки сверкали, как голубые звездочки, а волосы вились прелестнейшими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Пирли-патхен родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов, и когда, спустя два часа после ее рождения, рейхканцлер хотел пощупать ее десны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: «Ай-ай-ай!» Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал: «Ой-ой-ой!» — но вопрос этот до сих пор еще не решен окончательно. Бесспорно одно, что принцесса укусила рейхканцлера за палец и что вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы.

Рождение ее, как уже было сказано, обрадовало решительно всех, и только одна королева вдруг стала, неизвестно почему, грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорожденной. Мало того, что у самых дверей ее комнаты стояли на страже драбанты и что у колыбели всегда сидели две няньки, королева приказала, чтобы еще шесть нянек постоянно дежурили в той же комнате. Но чего уже решительно никто не мог понять, так это то, почему

каждая из этих шести нянек должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак бы не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я это знаю и сейчас вам расскажу.

Раз ко двору отца Пирлипат съехалось много прекрасных принцев и королей, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами и т. п. Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести празднество, достойное его. Посоветовавшись с главным кухмистером, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете, тем более, что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное время для колки свиней. Сказано — сделано! Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством; перед обедом же дружески сказал королеве:

— Ведь ты, дружочек, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу…

Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась

приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню большой золотой котел, а также серебряные кастрюльки; когда большой огонь запылал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух от варившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и, быстро проговорив: «Извините, господа, я сейчас ворочусь», — побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного скипетром в котле, и затем, успокоенный, воротился заканчивать заседание.

Между тем кухне предстояло самое важное дело: поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, потому что королева, из любви и уважения к королю, хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг раздался из-под пола тоненький голосок:

— Сестрица, сестрица! Позвольте мне кусочек! Ведь я такая же королева, как и вы; мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала.

Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под

полом их дворца. Крыса эта приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и держит поэтому под печкой большой двор. Королева была очень добрая, сострадательная женщина, и хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала:

— Сделайте одолжение, госпожа Мышильда, пожалуйте сюда и кушайте на здоровье.

Крыса живо выскочила из-под пола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут, вслед за крысой, прибежала вся ее родня, тетки, кумушки, а главное — семь ее сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, подоспела вовремя обергофмейстерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математиком по равному кусочку на каждую колбасу.

Между тем трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных

одеждах — кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже — собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной любезностью и затем, как хозяин, сел за обедом на первом месте стола, со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал, и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест; лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс; наконец после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма жженых перьев, удалось привести короля немного в чувство, причем первыми его словами было:

— Слишком мало сала!

Королева, едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая:

— О бедный, несчастный супруг мой! — кричала она. — Чувствую, чувствую, как вы страдаете! Виноватая здесь, у ног ваших ног! Накажите строго! Крыса Мышильда со своими семью сыновьями, тетками и прочей родней съела все

сало! — и с этими словами королева без чувств упала навзничь.

Король в ужасном гневе вскочил со своего места и закричал:

— Обергофмейстерина! Как это могло случиться?

Та рассказала все, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за все крысе и всей ее родне.

Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительно ее имущество; но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить все это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали, так же как и меня, Христианом Элиасом Дроссель-мейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем ее семейством навсегда из пределов королевского дворца.

Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала, и расставил их около крысиной норы.

Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут было дело, но для жадной семьи

мудрые ее предостережения остались напрасными, и, привлеченные вкусным запахом сала, все ее семь сыновей, а также многие из прочих родственников, попались в машинки механика Дроссельмейера и были внезапно захлопнуты опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне.

Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести.

Король и придворные ликовали, но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщенной смерть своих сыновей и родственников. И действительно, раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из-под пола и сказала:

— Мои сыновья и родственники убиты! Смотри, королева, чтоб я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат! Берегись!

С этими словами она исчезла и уже больше не показывалась, а испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо.

— Но, впрочем, на сегодня довольно; конец расскажу в другой раз, — неожиданно закончил крестный.

Как ни просила Мари, в головке которой рассказ крестного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крестный остался неумолим и, вскочив с места, повторил: «Много сразу — вредно для здоровья! Продолжение завтра».

С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:

— Крестный, крестный! Это правда, что ты выдумал мышеловки?

— Какой вздор ты городишь, Фриц! — сказала мама, но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:

— Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик; так почему же мне не выдумать

Продолжение сказки о крепком орехе

— Теперь вы знаете, дети, — начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером, — почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе. Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Мышильда

может вернуться и исполнить свою угрозу. Машинки Дрос-сельмейера не могли ничего сделать против умной, предусмотрительной крысы, и придворный астроном, носивший титул тайного обер-звездочета, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвадить Мы-шильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из нянек, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, которым пожаловали за это при дворе почетные должности, причем няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности.

Как-то ночью случилось, что одна из двух обергофнянек, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась — тишина! Ни шороха, ни мурлыканья! И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на нее своими противными глазами! С криком, разбудившим всех,

бросилась нянька к принцессе, но Мышильда (это была она) успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то было! Она исчезла в щели в полу. Принцесса между тем проснулась от шума и громко расплакалась.

— Слава богу, она жива! — воскликнули няни; но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком! Вместо белой, с розовыми щечками, кудрявой головки, на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная, уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились, как два шара, а рот раздвинулся до ушей!

Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:

— О, несчастный я монарх!

Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мышильду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дрос-сельмейера из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссель-

мейер в течение четырех недель во что бы то ни стало вылечил принцессу или, по крайней мере, указал верное к тому средство; в противном же случае объявил, что ему будет отрублена голова.

Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веруя в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение, и, к крайнему прискорбию, пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг.

Наступила среда четвертой недели, и король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:

— Христиан Дроссельмейер! Или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!

Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело щелкала орехи. Тут в первый раз запала Дрос-сельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами.

В самые первые дни после своего рождения она без умолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами.

— О святой инстинкт природы! — воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. — О неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу — и тайна откроется!

Он тотчас же просил позволения переговорить с придворным астрономом и был сведен к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединенном кабинете, начали рыться в груде книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных, премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого, упорного труда оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется

к ней снова, если будет найден орех Кракатук и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко.

Орех Кракатук имел такую твердую скорлупу, что ее не могло бы пробить сорокавосьмифунтовое пушечное ядро. Мало того — этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапог. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить семь шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза.

Три дня и три ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа, и наконец в субботу во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два праздничных кафтана.

— Сейчас же после обеда, — сказал он, — мы испытаем это средство; позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы, да, главное, не давайте ему вина, чтоб он не споткнулся, когда

будет пятиться задом положенные семь шагов; потом пусть пьет вволю!

Дроссельмейер похолодел при этих словах короля и не без трепета осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех Кракатук и маленького человечка предстояло еще отыскать, и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясая скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев:

— Так прощайся же со своей головой!

На счастье Дроссельмейра, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонять милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминула ему представить добрая, тронутая участью Дроссельмейера королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король, хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба — часовщик и звездочет — немедленно отправятся на поиски ореха Кракатука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его

раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех, выходящих в государстве газетах и ведомостях…

Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером.

Конец сказки о крепком орехе

На следующий день, едва зажглись свечи, явился крестный и стал рассказывать далее:

— Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около шестнадцати лет и все-таки никак не могли напасть даже на след ореха Кракатука. Какие страны они посетили, какие диковинки видели — этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых четырех недель, а потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень стосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходного кнастера.

«О мой милый, родной Нюрнберг! — воскликнул он. — Какие бы города ни посетил путеше-

ственник — Лондон, Париж, Петервардейн, но, увидя тебя в первый раз, с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все!»

Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь с силами, отер слезы и сказал:

— Послушай, любезный друг! Какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что! Отправимся в Нюрнберг! Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех Кракатук.

— А что, ведь и в самом деле! — ответил, развеселившись, Дроссельмейер.

Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой был Нюрнберг, относительно того места в Азии, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Пирлипат, крысы Мышильды и ореха

Кракатука, и, слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял:

— Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!

Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования, рассказал, как он два года прожил у Финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы Миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Кракатуке во всевозможных ученых обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Кристоф Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал:

— Гм, гм! Эге! Вот оно как!

Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул:

— Ну, братец! Ведь ты счастливец! Верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Крака-тук у меня!

С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой, позолоченный орех средней величины и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее.

— Несколько лет тому назад пришел сюда в Рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей спины на землю, но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за цванцигер 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой цванцигер, какой желал иметь этот человек. Купив орех, я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого.

Сомнение в том, точно ли это орех Кракатук, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово «Кракатук».

Можно себе было представить радость путешественников! Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда

Дроссельмейер уверил его, что, кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже все золото, использованное им на позолоту ореха. Оба, и часовщик и астроном, уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал:

— Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех Кракатук, но и маленького человечка, который должен его раскусить; и это не кто иной, как сын нашего почтенного хозяина! Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа!

С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами.

Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который, действительно, еще ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он, два Рождества кряду, исполнял роль паяца, но следов от этого занятия в нем не заметил бы никто: так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству одевали его в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной любезностью щелкал малень-

ким девочкам орехи, за что они его и прозвали Щелкунчиком. На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул:

— Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее: во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее, с помощью пружин, с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король после того, как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех Кракатук, он даст принцессу Пирлипат в жены и сделает наследником престола.

Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Пирлипат и сделаться королем, почему и отпустил его охотно с часовщиком и звездочетом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки.

Едва в столице распространился слух о возвра-

щении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления, и оба путешественника, явившиеся ко двору с привезенными ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу, среди них было даже несколько принцев.

Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными, тощими ручонками едва держало огромную, уродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличилось из-за белой, точно нитяной, бороды, которой обросли ее губы и подбородок.

Дальше все произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти; зубные врачи только приговаривали:

— Ну! Вот так орех!

Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать

попытку.

Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:

— Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!

Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера Кракатук, положил его, недолго думая, в рот, крепко стиснул зубы и раздалось — крак! Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от кожицы и, преклонив верноподданнически колени, он подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом проглотила ядро, и вдруг — о чудо! — уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию, с приставшим к ней розовыми лепестками, глаза засверкали, точно голубые звездочки, а волосы завились прелестными золотыми колечками.

Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Король и придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны, а на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей

от радости сделалось дурно.

Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому еще было положено пятиться семь шагов; однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в седьмой раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы; молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в одну минуту превратился в такого же урода, каким была до того принцесса. Туловище его съежилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиною тяжелый деревянный плащ.

Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но, однако, они заметили, что и крыса, вся в крови, лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил ее по шее, и ей пришел конец.

Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела:

— Орех Кракатук! Сгубил меня ты вдруг! Хи-хи! Пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Сынок с семью головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжко, тяжко дышать! Пришла пора умирать! Пик!

С этими словами крыса умерла, и труп ее был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере между тем, казалось, все позабыли, но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:

— Прочь, прочь, гадкий Щелкунчик!

Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери.

Король, рассердившись, что ему хотели навязать в зятя такого урода, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдения и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки будет принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мышильды, родившегося после смерти ее семи сыновей с семью головами и ставшего Мышиным королем, и если прекрасная юная дама полюбит Щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого Щелкунчика опять выставили

к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем!

Вот вам, дети, сказка о крепком орехе! Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также, почему Щелкунчики бывают такие уроды!

Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат — недобрая и неблагодарная принцесса, а Фриц уверял, что если Щелкунчик и в правду храбрец, то он сумеет управиться с Мышиным королем и возвратит себе свою прежнюю красоту.

Дядя и племянник

Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случалось когда-нибудь порезаться стеклом, то он, без сомнения, помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Так и Мари должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате.

В стеклянном шкафу нашла она все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики,

куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому Щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новыми, крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли Щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре Щелкунчика с Мышиным королем? Рассуждая далее, она пришла к выводу, что Щелкунчик ее не кто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой, племянник крестного Дроссель-мейера.

О том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Пирлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа. «Но почему же не помог тебе твой дядя?» — сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой Щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство. «Если, — думала Мари, — все куклы называли тогда себя его подданными, то, значит, пророчество придворного астронома исполнилось и молодой Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства».

Рассуждая так, умненькая Мари заключила,

что если Щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться, но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына.

— Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер, — говорила она, обращаясь к Щелкунчику, — если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно.

Щелкунчик остался недвижен, но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул, так что стекла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть задребезжали, и в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик: «Мария, друг, хранитель мой! Не надо мук — я буду твой!»

Мари испугалась, но и почувствовала какое-то необыкновенно приятное чувство.

Наступили сумерки. Советник медицины вернулся домой вместе с крестным; Луиза разлила чай, и все семейство уселось за круглым столом, весело разговаривая. Мари потихоньку придви-

нула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крестный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела пристально на крестного своими большими голубыми глазами и сказала:

— Крестный! А ведь я знаю, что мой Щелкунчик — это молодой Дроссельмейер, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с Мышиным королем, сыном крысы Мышильды; почему же ты ему не помогаешь?

При этом Мари снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемая громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейер и Фриц остались серьезны.

— Откуда эта девочка набралась такого вздора? — сказал советник медицины.

— У нее очень живая фантазия, — ответила мама, — и все это не более чем горячечный бред.

— Да притом это неправда, — закричал Фриц, — мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения! Не то я бы им показал!

Крестный между тем, ласково улыбаясь, взял Мари на колени и сказал, гладя ее по головке:

— Не слушай их, моя маленькая Мари! Тебе Бог

дал больше, чем всем нам! Ты, как моя Пирлипатхен в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном, прекрасном королевстве, что же касается твоего Щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя: Мышиный король преследует его везде; не я, а ты одна можешь его спасти, будь только стойкой и преданной!

Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крестный сказать этими словами, а советнику медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал:

— Эге, любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове, я вам что-нибудь пропишу.

Только советница в раздумье покачала головой и тихо сказала:

— Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами.

Победа

Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал.

— Ах, мыши! Это опять мыши! — с испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить свою маму, но голос ее прервался на полуслове, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что Мышиный король, выскочив со своими семью коронами из-под пола, вспрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставясь на нее, запищал, щелкая гадкими зубами:

— Хи! Хи! Хи! Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего Щелкунчика! — и сказав это, опять исчез в своей норе.

Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения Щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день утром мама сказала:

— Какая неприятность, у нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Мари

все ее конфеты.

Так оно и было. Жадный Мышиный царь, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя его, должно быть, по своему вкусу, но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего Щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый, пронзительный свист! Мышиный царь сидел снова на столике и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы:

— Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего Щелкунчика! Разгрызу, разгрызу!

Сказав это, он опять исчез под полом.

Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушком и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака, были

два почтальона с письмами да кроме того четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец; был Пах-тер Фельдкюммель с Орлеанскою Девой, которые, впрочем, не особенно нравились Мари; всех же более любила она маленького, краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратясь к Щелкунчику, она сказала:

— Ах, мой милый господин Дроссельмейер! Поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень тяжело!

Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив Мышиного царя, с его оскаленными зубами, готового перекусить Щелкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решилась спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкапа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюммеля с Орлеанской Девой — в первый.

— Нет, это уже слишком! — воскликнула на другой день советница, — у нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу! Пред-

ставьте, что все сахарные куколки бедной Мари изгрызены и перекусаны на куски!

Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла Щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейру, отец Мари очень был недоволен и сказал:

— Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти!

— Ну как не быть? — весело воскликнул Фриц. — Внизу у булочника есть отличный серый кот; надо его взять к нам наверх, а он уж отлично обделает дело, будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее, Мышиный король!

— Да, — прибавила мама смеясь, — а заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки.

— О нет! — возразил Фриц. — Это очень ловкий кот; я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он.

— Нет уж, пожалуйста, нельзя ли обойтись ночью без кошек, — сказала Луиза, которая их очень не любила.

— Я думаю, — сказал советник, — что Фриц прав, а пока можно будет поставить и мышелов-

ку; ведь у нас она есть?

— Что за беда, если и нет, — закричал Фриц, — крестный тотчас сделает новую! Ведь он же их выдумал!

Все засмеялись, когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну, отлично сделанную.

Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Мари и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и, полная воспоминаниями о странных, слышанных ею вещах, она сказала однажды дрожащим голосом:

— Ах, королева, королева! Берегитесь седой крысы и ее семейства!

Фриц же тотчас выхватил саблю и закричал:

— А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!

Но все оставалось спокойно и в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Ну смотри, крестный-часовщик! Не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!

Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный Мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом семь кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной, дрожащей Мари:

— Хитри, хитри! В оба смотри! Я ведь ловок! Не боюсь мышеловок! Подавай твои картинки, платьице и ботинки! А не то — ам, ам! Щелкунчика пополам! Хи, хи! Пи, пи, квик, квик!

Можно себе представить горе Мари! Она даже побледнела и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана, но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила:

— Полно, успокойся, милая Мари! Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота.

Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала:

— Ах, мой добрый господин Дроссельмейер! Что могу сделать для вас я, бедная, маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому Мышиному королю все мои книжки с картинками и мое хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у

меня больше нет ничего, и он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня! О бедная, бедная я девочка! Что же мне делать, что мне делать?

Так плача и жалуясь, Мари заметила, что у Щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный, кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что Щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать как прежде, но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что Щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы Щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском:

— Ах, моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Милый, единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев! Достаньте мне саблю, только саблю!.. А об остальном уж позабочусь я сам!

На этих словах Щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежнее, деревянное и безжизненное выражение. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невы-

разимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя?

Мари решила посоветоваться с Фрицем, и вечером, когда родители ушли и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между Мышиным королем и Щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти.

Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так, и когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный, походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:

— Что касается сабли, то я могу помочь твоему Щелкунчику; вчера я уволил в отставку с пенсией одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная, острая сабля больше ему не нужна.

Отставной полковник проживал на пожало-

ванную ему Фрицем пенсию в углу, на третьей полке шкафа; его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее Щелкунчику.

Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой еще никогда не бывало, и сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.

— Мышиный король! Мышиный король! — воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати, но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском:

— Успокойтесь, милая фрейлейн Штальбаум, у меня хорошие вести!

Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платьице и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул:

— О дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить! Мышиный король, смертельно раненный, купается в собственной

крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофеи его победы!

С этими словами Щелкунчик ловко стряхнул с левой руки надетые им, как браслеты, семь корон мышиного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок.

— Теперь, когда враг мой повержен, — продолжал Щелкунчик, — я покажу вам, дорогая фрейлейн Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы; решитесь только последовать за мною; решитесь, прошу вас! Не бойтесь ничего!

Кукольное царство

Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы пойти за добрым, милым Щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мари готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность Щелкунчика, и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:

— Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще

не выспалась.

— Ну, в таком случае, — возразил Щелкунчик, — я выберу самую короткую, хотя я не совсем удобную Дорогу.

Он пошел вперед, а Мари за ним, пока наконец оба не остановились пред большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого бывшего всегда запертым шкафа были отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз спустилась сквозь рукав изящная, сделанная из кедрового дерева лестница.

— Взойдите по этой лестнице, милая Мари, — крикнул Щелкунчик сверху.

Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что ее внезапно озарил какой-то легкий приятный свет, и она очутилась стоящей на прелестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших, драгоценных камней.

— Мы на Леденцовом лугу, — сказал Щелкун-

чик, — и сейчас пройдем вон через те ворота.

Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора, белого, шоколадного и розового цветов, но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом, потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались Миндально-Изюмными. Простой же народ, довольно неучтиво, называл их воротами обжор-студентов. На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели шесть маленьких, одетых в красные курточки обезьян и играли янычарский марш, так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов полу.

Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, несшиеся из чудесного лежавшего по обе стороны дороги леска. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки, и, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый

запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели, точно хрустальные колокольчики, и вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.

— Ах, как здесь хорошо! — воскликнула восхищенная Мари.

— Мы в лесу Детских рождественских подарков, — сказал Щелкунчик.

— О погодите же, не идите очень скоро, здесь так хорошо, — продолжала Мари.

Щелкунчик остановился, хлопнул в ладоши, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.

— Извините, милая фрейлен Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным, но это танцоры из нашего механического театра

и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули в свои рога; им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?

— Да что вы, балет был просто прелесть какой и мне очень понравился! — сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком.

Они пошли вдоль светлого, струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.

— Это Апельсиновый ручей, — ответил Щелкунчик на расспросы Мари, — он правда очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с Лимонадной речкой, впадающей в озеро Миндального молока, которые мы сейчас увидим.

До слуха Мари в самом деле стали доносится шум и журчание воды, и скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь и дыхание прохлада веяла от прекрасных вод. Неподалеку лениво струился какой-то желтоватый, мутный ручеек с очень приятным запахом; на берегу его сидели красивые детки и удили ма-

леньких, толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мари увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие, круглые пряники. Неподалеку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами — все темного цвета, но с позолоченными крышами, а на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей или лимонных цукатов.

— Это деревня Медовых пряников, — сказал Щелкунчик, — и лежит она на берегу Медового ручья; жители ее очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдем.

В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел веселый шум и гам уличного движения; сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.

— Мы в Конфетенхаузене, — сказал Щелкунчик, — куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из Бумажного королевства.

Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух, вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны: в столицу, в столицу!

Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним полная любопытства Мари. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и все вокруг вдруг озарилось нежным, розовым сиянием. Мари увидела, что это был отблеск сверкавшей, как заря, водяной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшиеся в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более по мере того, как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди, с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.

— Ах, — воскликнула в восторге Мари, — это точно то озеро, которое обещал мне сделать крестный Дроссельмейер, а я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей!

Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал:

— Ну нет! Крестному такой вещи не сделать! Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум… Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить, отправимся лучше по Розовому озеру в столицу.

Столица

Щелкунчик захлопал в ладоши, и розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего; волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним сверкавшую, точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. Двенадцать прелестных маленьких арапчат, в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышков колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала ее, а потом и Щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру.

Весело было Мари плыть по этим чудным, розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Золоточешуйчатые дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны

розовой, кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн: «Послушайте, скорее, скорее! — навстречу хорошенькой фее! Мушки, жужжите! Рыбки, плывите! Лебеди, песенки пойте! Волны, кружитесь, играйте! Птички, над нами летайте! Динь-дин-дон! Динь-динь-дон!»

Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась двенадцати маленьким арапчатам, сопровождавшим Мари; они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали, и в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою: «Клип-клап! Клип-клап! Не уступит вам арап! Рыбки, прочь! Птички, прочь! Клип-клап! Клип-клап!»

— Арапчата — веселый народ, — сказал Щелкунчик с некоторым беспокойством, — но они у меня взбаламутят сейчас все море.

И в самом деле, голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли, хотя Мари этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на нее прелестные, улыбающиеся лица.

— Ах, — радостно воскликнула она, всплеснув руками, — посмотрите, милый господин Дроссельмейер! Ведь это принцесса Пирлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите, посмотрите, прошу вас!

Щелкунчик печально вздохнул и сказал:

— О моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Это не принцесса Пирлипат, а вы, вы сами! Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах!

Услышав это, Мари очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес Детских подарков; так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный тончайший аромат.

— Мы в Цукатной роще, — сказал Щелкунчик, — а там лежит столица.

Боже! Что увидела Мари, взглянув в сторону, куда указывал Щелкунчик. Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но

и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами.

Когда Мари с Щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь, а маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!

Мари очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Дроссельмейера принцем. В эту минуту до слуха ее стал доноситься шум и гам, звуки ликования и веселых песен; удивленная Мари невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.

— О милая фрейлейн Штальбаум, — ответил тот, — в этом нет ничего удивительного; Конфетен-бург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдемте, прошу вас, дальше.

Пройдя немного, они очутились на большой

рыночной площади. Тут было на что посмотреть! Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине площади возвышался высокий сладкий пирог в виде обелиска, окруженный четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, оршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из сбитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще издали так поразил Мари.

Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, арлекины — словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт: толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине великого Могола, сопровождаемого девяносто тремя подвластными ему князьями и семьюстами невольниками, и надо же было случиться, что навстречу ему попалось торжественное шествие цеха рыбаков, в количе-

стве пятьсот человек; да, кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с тремя тысячами янычар, к тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая, с музыкой и звоном, торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые! Раздались жалобные крики; один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а великий Могол чуть не был сбит с ног арлекином. Свалка принимала все более и более опасный характер, и дело почти уже доходило до драки, как вдруг человек в халате, приветствовавший Щелкунчика в воротах, быстро влез на обелиск, ударил три раза в колокол и громко три раза крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось; каждый кинулся спасаться как мог; великий Могол вычистил испачканное платье, брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.

— Кто такой этот кондитер? — спросила Мари.

— Ах, милая фрейлин Штальбаум, — отвечал Щелкунчик, — кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу; она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рок, который властвует над нашим маленьким, веселым народцем, и все так его боятся, что уже одно

произнесенное его имя может унять народное волнение, как это сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумье о том, что такое жизнь и что такое есть он сам!

В эту минуту Мари невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, с множеством легких, воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, и их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших как жар, звездочек.

— Мы перед Марципановым замком, — сказал Щелкунчик.

Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца, однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам:

— Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность, или, лучше сказать, даже совершенная погибель; великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж хотел было приняться за купол, да жители успели его умилостивить, поднеся ему, в виде выкупа, целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше.

В эту минуту послышались звуки тихой, нежной музыки, ворота замка отворились, и навстречу Мари вышли двенадцать маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги из чистого, самой искусной работы золота. За ними следовали четыре дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах; Мари сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью:

— О милый принц! Милый братец!

Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром:

— Вот фрейлейн Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница. Если

б она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышиным королем! Судите сами, может ли сравниться с фрейлейн Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирожденная принцесса? Нет, тысячу раз нет!

Дамы воскликнули:

— Нет! нет! — И со слезами бросились обнимать Мари.

— О милая, добрая спасительница нашего брата! Прелестная фрейлейн Штальбаум!

Затем дамы повели Щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого кедрового и бразильского дерева.

Принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом уставили они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей,

вилок, кастрюлек и прочей посуды, все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела, и живо подняли такую стряпню и возню своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках, и не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был готов. Мари очень хотелось помочь принцессам и научиться самой тоже так хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:

— Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки.

Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напевая веселую песенку, а Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности о битве его войска с Мышиным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат и как противный Мышиный король наверно раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами, и т. д. Мари во

время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенки ступки; а затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и Щелкунчика легкой, прозрачной пеленой, так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними; пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она, точно на легких, качающихся волнах, поднималась куда-то высоко-высоко, все выше… выше…

Заключение

Та-ра-ра-бух! — вдруг раздалось в ушах Мари, и не успев вскрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге, открыв глаза, увидела она, что лежит в своей кровати, светлый день глядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит:

— Как же ты, Мари, так долго спишь! Ведь уже завтрак на столе.

Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденными ею чудесами в Марципановом замке, в конце концов

заснула и что мавры с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли ее домой, в ее кровать.

— Ах, мамочка, милая моя мамочка! Если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Дроссельмейер и какие чудеса я видела! — воскликнула Мари и при этом рассказала все, что я вам уже рассказал, на что мама удивилась и сказала:

— Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы.

Мари стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а сущая правда, так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда Щелкунчика, стоявшего по обыкновению на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:

— Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?

— Ах, мама, — перебила ее Мари, — да ведь Щелкунчик — это молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного Дроссельмейера!

Тут оба, и советник и советница, разразились неудержимым смехом.

— Папа, папа! — почти со слезами говорила Ма-

ри. — Вот ты смеешься над моим Щелкунчиком, а знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в Марципановый замок и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины!

Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицом. Тогда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки семь корон Мышиного короля и сказала, подавая их маме:

— Так вот смотри же, мама: видишь эти семь корон Мышиного короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Дроссельмейер на память, в знак своей победы.

Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного, блестящего металла и притом с таким искусством, что трудно было поверить, чтоб это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтоб Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала, и когда папа начал ее строго журить и даже назвал маленькой лгуньей,

она расплакалась и могла только сказать, рыдая:

— Бедная, бедная я девочка! Что же должна я говорить?

В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел крестный:

— Что это? — воскликнул он. — Моя милая крестница Мари плачет! Что это значит?

Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему коронки. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул:

— Так вот в чем дело! Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и два года тому назад подарил Мари в день ее рожденья. Разве вы забыли?

Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить, а Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула:

— Крестный, крестный! Ты все знаешь, уверь их, что Щелкунчик мой — твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, и что коронки подарены мне им!

Крестный на это сделал очень недовольную мину и процедил сквозь зубы:

— Какая, однако, глупая штука вышла!

Тогда советник взял Мари за руку и, поставив

ее перед собой, сказал очень серьезно:

— Послушай, Мари, ты должна выбросить из головы эти глупости! Если же ты еще станешь уверять, что твой глупый Щелкунчик племянник господина Дроссельмейра, то я выброшу за окошко и его, и всех остальных твоих куколок, не исключая мамзель Клерхен.

С тех пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало, хотя, можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие они видела! Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой Фриц Штальбаум не хотел слушать рассказов Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя ее глупой девчонкой, и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш! Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидал! Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши

испачкали их новые мундиры!

Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной, очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем и вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали маленькой мечтательницей.

Раз как-то случилось, что крестный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погруженная свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на Щелкунчика.

— Ах, милый господин Дроссельмейер, — вдруг невольно сорвалось с ее языка, — если б вы жили на самом деле, то поверьте, я не поступила бы с вами, как принцесса Пирлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту!

— Ну, ну, глупые выдумки! — вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенело и она без памяти свалилась со стула.

Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около нее и говорит:

— Ну можно ли так падать со стула? Ведь ты

теперь большая девочка! Вставай скорей, к нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга; будь же умницей и веди себя при нем хорошо.

Взглянув, Мари увидела, что крестный, одетый опять в свой желтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого, лицо которого сияло свежестью и здоровьем, словом, кровь с молоком; на нем был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шелковые чулки и лакированные башмаки, а в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса; маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шелковую шляпу.

Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Мари множество хорошеньких вещиц, а между прочими — марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то Мышиный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя

за косу, раздавалось — крак! — и орех рассыпался на кусочки.

Мари покраснела, как маков цвет, едва увидела милого молодого человека, и покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройтись вместе с ним к стеклянному шкафу.

— Забавляйтесь, детки, забавляйтесь, — сказал крестный, — я ничего не имею против; теперь все мои часы в порядке.

Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:

— О милая, дорогая фрейлейн Штальбаум! Примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Пирлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, я перестал быть гадким уродливым Щелкунчиком и приобрел свою прежнюю, не лишенную приятности внешность! О милая фрейлейн! Осчастливьте меня вашей рукой! Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король, и будьте владетельницей Марципанового замка!

Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:

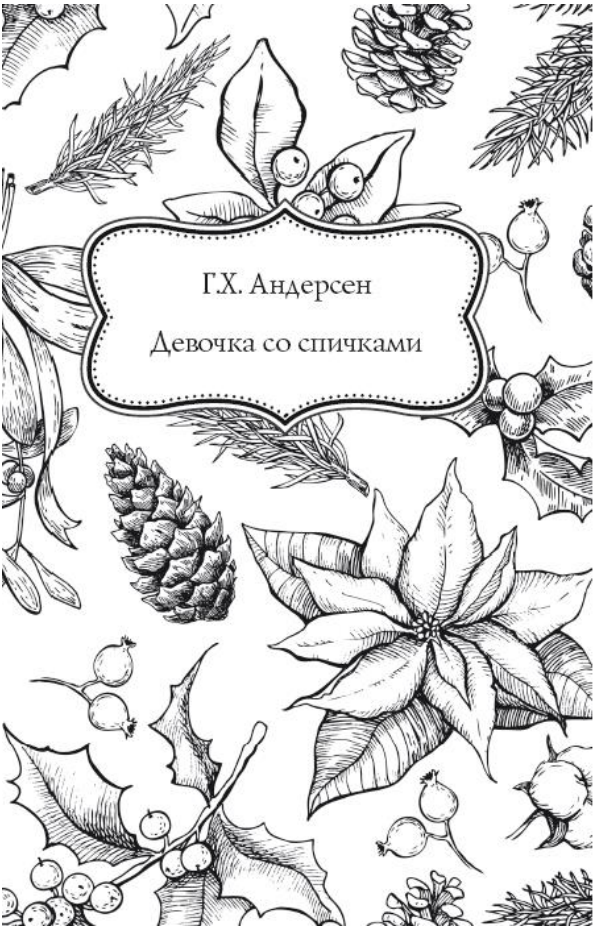
— Милый господин Дроссельмейер! Я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек, и так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народом стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой!

Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Дроссельмейера.

Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увез Мари к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали двадцать две тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками — словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи.

Вот вам сказка про Щелкунчика и Мышиного короля.

Г.Х. Андерсен


Г.Х. Андерсен
Девочка со спичками

Девочка со спичками
(Перевод А. и П. Ганзенов)



Морозило, шел снег, на улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз в вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытою головой и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились! Огромные-преогромные! Последней их носила мать девочки, и они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут.

И вот, девочка побрела дальше босая; ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько

пачек серных спичек; одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички; она не выручила ни гроша. Голодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше… Жалко было и взглянуть на бедняжку! Снежные хлопья падали на ее прекрасные, вьющиеся, белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки, по улицам пахло жареными гусями; сегодня, ведь, был канун Нового года — вот об этом она думала.

Наконец, она уселась в уголке, за выступом одного дома, съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее, а домой она вернуться не смела: она ведь не продала ни одной спички, не выручила ни гроша — отец прибьет ее! Да и не теплее у них дома! Только что крыша-то над головой, а то ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем окоченели. Ах! одна крошечная спичка могла бы согреть ее! Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики! Наконец, она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное, и когда девочка прикрыла его от

ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка: девочке чудилось, будто она сидит перед большою железною печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке! Она вытянула было и ножки, но… огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички.

Вот она чиркнула другою; спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачною, как кисейная. Девочка увидела всю комнату, накрытый белоснежною скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него! Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкою и ножом в спине, так и побежал вперевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая, холодная стена.

Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепнейшею елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки,

какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла, огоньки стали подыматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки; одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собою длинный огненный след.

— Вот, кто-то умирает! — сказала малютка.

Покойная бабушка, единственное любившее ее существо в мире, говорила ей: «Падает звездочка — чья-нибудь душа идет к Богу».

Девочка чиркнула об стену новою спичкой; яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая, и в то же время такая кроткая и ласковая, ее бабушка.

— Бабушка! — вскричала малютка: — Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка, уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая, славная елка!

И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у нее в руках, — так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее чем днем. Никогда еще бабушка не была такою красивою, такою величественною! Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе, в сиянии и в блеске,

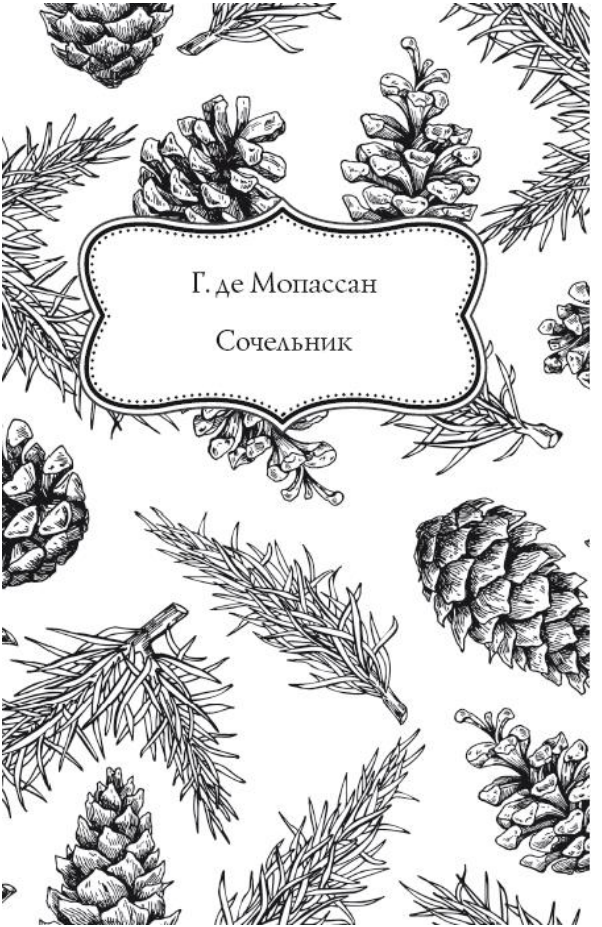
высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха — к Богу!

В холодный утренний час, в углу за домом, по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками; одна пачка почти совсем обгорела.

— Она хотела погреться, бедняжка! — говорили люди.

Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась, вместе с бабушкой, к новогодним радостям на небо!

Г. де Мопассан


Г. де Мопассан
Сочельник

Сочельник
(Перевод А. Чеботаревской)



Уже не помню точно, в каком это было году. Целый месяц я охотился с увлечением, с дикою радостью, с тем пылом, который вносишь в новые страсти.

Я жил в Нормандии, у одного холостого родственника, Жюля де Банневиль, в его родовом замке, наедине с ним, с его служанкой, лакеем и сторожем. Ветхое, окруженное стонущими елями здание в центре длинных дубовых аллей, по которым носился ветер; замок казался давно покинутым. В коридоре, где ветер гулял, как в аллеях парка, висели портреты всех тех людей, которые некогда церемонно принимали благородных соседей в этих комнатах, ныне запертых и заставленных одною старинной мебелью.

Что касается нас, то мы просто сбежали в кух-

ню, где только и можно было жить, в огромную кухню, темные закоулки которой освещались, лишь когда в огромный камин подбрасывали новую охапку дров. Каждый вечер мы сладко дремали у камина, перед которым дымились наши промокшие сапоги, а свернувшиеся кольцом у наших ног охотничьи собаки лаяли во сне, снова видя охоту; затем мы поднимались наверх в нашу комнату.

То была единственная комната, все стены и потолок которой были из-за мышей тщательно оштукатурены. Но, выбеленная известью, она оставалась голой, и по стенам ее висели лишь ружья, арапники и охотничьи рога; стуча зубами от холода, мы забирались в постели, стоявшие по обе стороны этого сибирского жилища.

На расстоянии одного лье от замка отвесный берег обрывался в море; от мощного дыхания океана днем и ночью стонали высокие согнутые деревья, как бы с плачем скрипели крыши и флюгера, и трещало все почтенное здание, наполняясь ветром сквозь поредевшие черепицы, сквозь широкие, как пропасть, камины, сквозь не закрывавшиеся больше окна.

В тот день стоял ужасный мороз. Наступил вечер. Мы собирались усесться за стол перед

высоким камином, где на ярком огне жарилась заячья спинка и две куропатки, издававшие вкусный запах.

Мой кузен поднял голову.

— Не жарко будет сегодня спать, — сказал он.

Я равнодушно ответил:

— Да, но зато завтра утром на прудах будут утки.

Служанка, накрывавшая на одном конце стола нам, а на другом — слугам, спросила:

— Знают ли господа, что сегодня сочельник?

Разумеется, мы не знали, потому что почти никогда не заглядывали в календарь. Товарищ мой сказал:

— Значит, сегодня будет ночная месса. Так вот почему весь день звонили!

Служанка отвечала:

— И да и нет, сударь; звонили также потому, что умер дядя Фурнель.

Дядя Фурнель, старый пастух, был местной знаменитостью. Ему исполнилось девяносто шесть лет от роду, и он никогда не хворал до того самого времени, когда месяц тому назад простудился, свалившись темной ночью в болото. На другой день он слег и с тех пор уже находился при смерти.

Кузен обратился ко мне:

— Если хочешь, пойдем сейчас навестим этих бедных людей.

Он разумел семью старика — его пятидесятивосьмилетнего внука и пятидесятисемилетнюю жену внука. Промежуточное поколение давно уже умерло. Они ютились в жалкой лачуге, при въезде в деревню, направо.

Не знаю почему, но мысль о Рождестве в этой глуши расположила нас к болтовне. Мы наперебой рассказывали друг другу всякие истории о прежних сочельниках, о наших приключениях в эту безумную ночь, о былых успехах у женщин и о пробуждениях на следующий день — пробуждениях вдвоем, сопровождавшихся удивлением по сему поводу и рискованными неожиданностями.

Таким образом, обед наш затянулся. Покончив с ним, мы выкурили множество трубок и, охваченные веселостью отшельников, веселой общительностью, внезапно возникающей между двумя закадычными друзьями, продолжали без умолку говорить, перебирая в беседе самые задушевные воспоминания, которыми делятся в часы такой близости.

Служанка, давно уже оставившая нас, появилась снова:

— Сударь, я ухожу на мессу.

— Уже?

— Четверть двенадцатого.

— Не пойти ли нам в церковь? — спросил Жюль. — Рождественская месса очень любопытна в деревне.

Я согласился, и мы отправились, закутавшись в меховые охотничьи куртки.

Сильный мороз колол лицо, и от него слезились глаза. Воздух был такой студеный, что перехватывало дыхание и пересыхало в горле. Глубокое, ясное и суровое небо было усеяно звездами, они словно побледнели от мороза и мерцали не как огоньки, а словно сверкающие льдинки, словно блестящие хрусталики. Вдали, по звонкой, сухой и гулкой, как медь, земле звенели крестьянские сабо, а кругом повсюду звякали маленькие деревенские колокола, посылая свои жидкие и словно тоже зябкие звуки в стынущий простор ночи.

В деревне не спали. Пели петухи, обманутые всеми этими звуками, а проходя мимо хлевов, можно было слышать, как шевелились животные, разбуженные этим гулом жизни.

Приближаясь к деревне, Жюль вспомнил о Фур-нелях.

— Вот их лачуга, — сказал он, — войдем!

Он стучал долго, но напрасно. Наконец нас увидела соседка, вышедшая из дому, чтобы идти в церковь.

— Они пошли к заутрене, господа, помолиться за старика.

— Так мы увидим их при выходе из церкви, — сказал мне Жюль.

Заходящая луна серпом выделялась на краю горизонта средь бесконечной россыпи сверкающих зерен, с маху брошенных в пространство. А по черной равнине двигались дрожащие огоньки, направляясь отовсюду к без умолку звонившей остроконечной колокольне. По фермам, обсаженным деревьями, по темным долинам — всюду мелькали эти огоньки, почти задевая землю. То были фонари из коровьего рога. С ними шли крестьяне впереди своих жен, одетых в белые чепцы и в широкие черные накидки, в сопровождении проснувшихся ребят, которые держали их за руки.

Сквозь открытую дверь церкви виднелся освещенный амвон. Гирлянда дешевых свечей освещала середину церкви, а в левом ее приделе пухлый восковой младенец Иисус, лежа на настоящей соломе, среди еловых ветвей, выставлял напоказ свою розовую, жеманную наготу.

Служба началась. Крестьяне, склонив головы, и женщины, стоя на коленях, молились. Эти простые люди, поднявшись в холодную ночь, растроганно глядели на грубо раскрашенное изображение и складывали руки, с наивной робостью взирая на убогую роскошь этого детского представления.

Холодный воздух колебал пламя свечей. Жюль сказал мне:

— Выйдем отсюда! На дворе все-таки лучше.

Направившись домой по пустынной дороге, пока коленопреклоненные крестьяне набожно дрожали в церкви, мы снова предались своим воспоминаниям и говорили так долго, что служба уже окончилась, когда мы пришли обратно в деревню.

Тоненькая полоска света тянулась из-под двери Фурнелей.

— Они бодрствуют над покойником, — сказал мой кузен. — Зайдем же наконец к этим беднягам, это порадует их.

В очаге догорало несколько головешек. Темная комната, засаленные стены которой лоснились, а балки, источенные червями, почернели от времени, была полна удушливого запаха жареной кровяной колбасы. На большом столе, из-под ко-

торого, подобно огромному животу, выпячивался хлебный ларь, горела свеча в витом железном подсвечнике; едкий дым от нагоревшего грибом фитиля поднимался к потолку. Фурнели, муж и жена, разговлялись наедине.

Угрюмые, с удрученным видом и отупелыми крестьянскими лицами, они сосредоточенно ели, не произнося ни слова. На единственной тарелке, стоявшей между ними, лежал большой кусок кровяной колбасы, распространяя зловонный пар. Время от времени концом ножа они отрезали от нее кружок, клали его на хлеб и принимались медленно жевать.

Когда стакан мужа пустел, жена брала кувшин и наполняла его сидром.

При нашем появлении они встали, усадили нас, предложили «последовать их примеру», а после нашего отказа снова принялись за еду.

Помолчав несколько минут, мой кузен спросил:

— Так, значит, Антим, дед ваш, умер?

— Да, сударь, только что кончился.

Молчание возобновилось. Жена из вежливости сняла со свечи нагар. Тогда, чтобы сказать что-нибудь, я прибавил:

— Он был очень стар.

Его пятидесятисемилетняя внучка ответила:

— О, его время прошло, ему здесь больше нечего было делать!

Мне захотелось взглянуть на труп столетнего старика, и я попросил, чтобы мне его показали.

Крестьяне, до той минуты спокойные, неожиданно взволновались. Они вопросительно и обеспокоенно взглянули друг на друга и ничего не ответили.

Мой родственник, видя их смущение, настаивал.

Тогда муж спросил подозрительно и угрюмо:

— А на что вам это?

— Ни на что, — ответил Жюль. — Но ведь так всегда делается; почему вы не хотите показать его нам?

Крестьянин пожал плечами:

— Да я не отказываю, только в такое время это неудобно.

Множество догадок мелькнуло у каждого из нас. И так как внуки покойника по-прежнему не двигались и продолжали сидеть друг против друга, опустив глаза, с теми деревянными недовольными лицами, которые словно говорят: «Проваливайте-ка вы отсюда», — Жюль сказал решительно:

— Ну, ну, Антим, вставайте и проводите нас в комнату старика.

Но крестьянин, хотя и покоряясь, хмуро ответил:

— Не стоит беспокоиться, его там уже нет, сударь.

— Где же он в таком случае?

Жена перебила мужа:

— Я вам скажу. Мы положили его до завтра в хлебный ларь; больше нам некуда было его деть.

Сняв тарелку с колбасой, она подняла крышку со стола, нагнулась со свечой, чтобы осветить внутренность огромного ящика, и в глубине его мы увидели что-то серое, какой-то длинный сверток, из одного конца которого высовывалось худое лицо с всклоченными седыми волосами, а из другого — две босые ноги.

То был старик, весь высохший, с закрытыми глазами, закутанный в свой пастушеский плащ и спавший последним сном среди старых черных корок хлеба, таких же столетних, как и он сам.

Его внуки разговлялись над ним!

Жюль, возмущенный, дрожа от гнева, закричал:

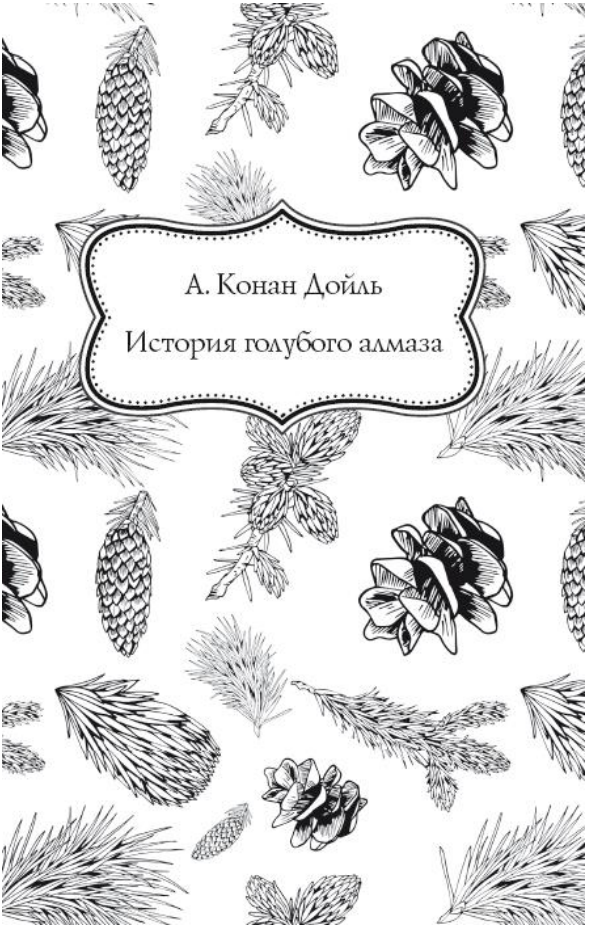
— Да почему же вы не оставили его на его кровати, мужичье вы эдакое?

Тогда женщина расплакалась и быстро заговорила:

— Я все вам скажу, сударь; у нас только одна кровать в доме. Раньше мы спали на ней вместе с ним: ведь нас было всего трое. Когда он заболел, мы стали спать на земле, а в такие холода, как сейчас, это тяжело. Ну, а когда он помер, мы так и сказали себе: раз он теперь больше не страдает, зачем оставлять его в постели? Мы отлично можем убрать его до завтра в ларь, а сами ляжем на кровать, потому что ночь будет холодная! Не можем же мы спать с покойником, господа!..

Мой кузен, вне себя от негодования, быстро вышел, хлопнув дверью, а я последовал за ним, смеясь до упаду.

А. Конан Дойль


А. Конан Дойль
История голубого алмаза

История голубого алмаза (Перевод Ф. Латернера)



На второй день Рождества я зашел поздравить моего друга Шерлока Холмса. Он лежал в ярко-красном халате на софе, курил трубку, весь закрытый целой кучей утренних газет. Рядом с софой стоял деревянный стул, на спинке которого была повешена грязная, оборванная шляпа. Увеличительное стекло и щипчики на стуле указывали на то, что Шерлок Холмс рассматривал шляпу.

— Ты занят? — сказал я. — Я, может быть, тебе помешаю?

— Вовсе нет, напротив, мне очень приятно поговорить со своим добрым знакомым о результатах моего исследования. Это совершенно обыденный предмет, — при этом он указал на старую шляпу, — но дальнейшие обстоятельства,

связанные с ним, небезынтересны, даже, некоторым образом, поучительны.

Я сел к камину и начал себе греть руки, так как на дворе было очень холодно и окна были покрыты толстой ледяной корой.

— Наверное, с этой вещью связана какая-нибудь преступная история и она является для тебя исходной точкой для раскрытия преступления и наказания преступников?

— Нет, нет, о преступлении тут нет и речи, — ответил со смехом Холмс. — Мы имеем дело с незначительным происшествием, скрывающим за собой, вероятно, что-нибудь очень интересное. Ты знаешь комиссионера Петерсона?

— Да.

— Этот трофей принадлежит ему.

— Это его шляпа?

— Нет, он ее нашел. Собственник ее неизвестен. Я теперь попрошу тебя видеть в этой вещи не старую выцветшую шляпу, а пробный камень для нашей дальновидности. Слушай, каким образом все это произошло. В первый день Рождества, около четырех часов утра, Петерсон — ты знаешь, он очень приличный человек — возвращался из гостей домой, причем шел по улице Тоттенгам. Впереди него шел, как он рассмотрел при свете

газовых фонарей, пошатываясь, высокий человек, несший на плече белого гуся. На углу улицы Гудж он вступил в ссору с двумя уличными мальчишками. Один из них сбил с него шляпу, после чего он поднял свою палку для защиты и при этом разбил магазинное окно. Петерсон поспешил к нему на помощь, но он, вероятно испугавшись бежавшего к нему комиссионера, форма которого похожа на полицейскую форму, бросил гуся и пустился бежать. Мальчишки последовали его примеру, так что на поле сражения остался один Петерсон, причем ему в добычу достался рождественский гусь и помятая старая шляпа.

— Которую он, конечно, вернул собственнику?

— Мой дорогой, вот в этом-то и загадка. Правда, к левой ноге гуся была прикреплена карточка, на которой было написано «Для м-ра Генри Бэйкера», и на подкладке шляпы стояли инициалы Г. Б., но так как в Лондоне несколько тысяч Бэйкеров, и несколько сотен Генри Бэйкеров, то нелегко найти собственника этих вещей.

— Что же сделал Петерсон?

— Он передал мне шляпу и гуся, так как он знает, что я интересуюсь самыми незначительными загадочными случаями. Гуся я сохранил до сегодняшнего утра, но заметил, что, несмотря

на холод, он скоро начнет портиться. Поэтому я отдал его Петерсону, а шляпу оставил у себя.

— Собственник ее не заявлял о себе?

— Нет.

— Каким путем можешь ты вывести заключение о его личности?

— Вот моя лупа, посмотри-ка сам, что тебе скажет шляпа о личности человека, обладавшего ею.

Я взял в руки старую измятую шляпу и начал ее рассматривать. Это была обыкновенная черная круглая шляпа на красной шелковой подкладке, теперь уже выцветшей. Фамилии фабриканта на ней не было, и, как совершенно верно заметил Холмс, на ней нацарапаны были инициалы «Г. Б.». На борту было отверстие для резинового шнура, самый шнурок отсутствовал. Шляпа была покрыта пылью и запачкана в нескольких местах. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что пятна старались скрыть и что они были замазаны чернилами.

— Я ничего не замечаю, — сказал я, возвращая шляпу моему другу.

— Напротив, Ватсон, ты замечаешь, но не можешь вывести заключение.

— В таком случае, скажи, пожалуйста, что ты

можешь заключить по этой шляпе?

Он взял ее в руки и стал рассматривать.

— Можно установить вполне определенно два факта и предположить с большей или меньшей вероятностью два другие факта. Сразу видно, что обладатель этой шляпы очень умный человек и что он в течение трех последних лет находился в благоприятных материальных обстоятельствах, хотя за последнее время они ухудшились. Раньше он обращал большое внимание на свою наружность, теперь же с некоторого времени он морально расстроен и ввиду этого предается пьянству, а может быть, также ввиду того, что жена его больше к нему любви не чувствует.

— Но, дорогой Холмс…

— Тем не менее он еще сохранил долю уважения к самому себе. Он ведет сидячий образ жизни, редко выходит на улицу, не привык к движению. Он средних лет, у него волосы с проседью, он недавно их стриг и мажет их помадой. Вот факты, которые можно вывести вполне определенно.

— Ты, конечно, шутишь, Холмс?

— Нисколько. Неужели ты не можешь понять, каким путем я дошел до этих предположений?

— Я, без сомнения, очень глуп, так как я положительно ничего не понимаю. Например, из чего

ты заключил, что обладатель этой шляпы очень умный человек?

Вместо ответа Холмс надел шляпу, которая покрыла чуть ли не всю его голову.

— У кого такая большая голова, тот, несомненно, умен.

— Ну, а его материальные обстоятельства?

— Этой шляпе три года — это видно по фасону. Шляпа эта первого сорта, взгляни только на шелковую ленту и подкладку. Если этот человек три года тому назад был в состоянии покупать такую дорогую шляпу и с того времени не приобретал себе новой, значит, материальные обстоятельства его пошатнулись.

— Ну ладно, это достаточно ясно. Но из чего ты заключил, что он раньше обращал внимание на свою наружность, а теперь опустился?

Холмс засмеялся.

— Он приделал к шляпе резиновый шнурок, так как шляпы продают без шнурка, но затем, когда он оборвался, он не дал себе труда пришить новый. С другой стороны, он старался замазать пятна чернилами, что указывает на то, что он не потерял к себе всякое уважение.

— Против этого ничего нельзя возразить.

— Остальные пункты, а именно то, что он сред-

них лет, что волосы у него с проседью, что он их недавно стриг, что он их мажет их помадой, можно установить при рассмотрении подкладки. В лупу видно массу остриженных волосков, пахнущих помадой. Пыль, покрывающая шляпу, не уличная, а комнатная пыль, что доказывает, что шляпа большей частью висит дома, а следы пота указывают с достоверностью на то, что этот человек не привык много ходить.

— Но его жена? Ты ведь говорил, что она его больше не любит.

— Шляпу эту уже давно не чистили, значит, о нем не заботятся.

— Но он, может быть, холостяк

— Нет, он нес гуся домой, значит, дома была жена и…

Холмс хотел продолжать, как вдруг дверь распахнулась и вбежал весь раскрасневшийся Петерсон, видимо, сильно взволнованный.

— Гусь, мистер Холмс, гусь! — пролепетал он.

— Ну? Что с ним? Он ожил и вылетел в окно? — Холмс повернулся на софе, чтобы лучше рассмотреть его лицо.

— Посмотрите, вот что нашла моя жена в его в зобу!

При этом он протянул ладонь, на которой ле-

жал чудный, блестящий голубой камень такой чистой воды, что он сиял как бы электрическим светом. Холмс вскочил.

— Вы нашли целое сокровище, Петерсон! Я полагаю, вы знаете, что вы нашли?

— Брильянт! Драгоценный камень!

— Не драгоценный, а самый драгоценный камень…

— Неужели это голубой алмаз графини Моркар? — воскликнул я.

— Конечно, это он! Я отлично знаю, как он выглядит, так как каждый день о нем пишут в «Таймс». Ценность его колоссальна. Тысяча фунтов стерлингов вознаграждения, предназначенных возвратившему этот брильянт его владелице, не представляет и двадцатой части его ценности.

— Тысяча фунтов! Всемогущий Боже!

Петерсон опустился на стул и уставился на нас.

— Если я не ошибаюсь, кража эта была совершена в «Космополитен отеле», — заметил я.

— Совершенно верно, двадцать второго декабря, пять дней тому назад. Да вот подробности.

Он отыскал номер газеты и громко прочел:

«КРАЖА В „КОСМОПОЛИТЕН ОТЕЛЕ“

Жестянщик Джон Горнер, 26 лет, обвиняется

в том, что 22-го украл из шкатулки графини Моркар драгоценный камень, известный под названием „Голубой алмаз“. Джэмс Ридер, главный лакей гостиницы, заявил, что он вместе с Горнером 22-го числа был в туалетном кабинете графини, где нужно было поправить каминную решетку. Через некоторое время его вызвали по делу, а когда же он вернулся в кабинет, то Горнера там уже не было, письменный стол оказался взломанным, и находившийся в нем ящичек, в котором находились драгоценности графини, оказался пустым. Ридер тотчас же поднял тревогу, и Горнера арестовали в тот же вечер, но у него не нашли камня. Полицейский инспектор Брадстрит, арестовавший Горнера, заявил, что он отчаянно защищался и уверял в своей невинности. Так как Горнер уже раз был осужден за кражу, то следователь направил его дело в суд, где оно будет разбираться присяжными заседателями. Горнер, выказывавший сильное волнение во время следствия, при объявлении резолюции следователя упал в обморок, так что его вынесли из залы».

— Теперь наша задача состоит в том, чтоб найти нить, ведущую от взломанной шкатулки к гусиному зобу. Поэтому мы должны теперь

определить роль, которую играл Генри Бэйкер в этой таинственной истории. Попробуем самое простое средство и дадим объявление в газеты. Например, такое: «Найдены на углу Гудж-стрит гусь и черная мягкая шляпа. Мистер Генри Бэйкер может получить эти вещи сегодня вечером в половине седьмого в доме номер 221 по улице Бэйкер». Это коротко и ясно.

— Но попадется ли ему на глаза это объявление?

— Он, наверное, внимательно будет читать газеты, так как это для него немаловажная потеря. Сбегайте-ка, Петерсон, в газетную контору и сдайте это объявление во все вечерние газеты. Затем на обратном пути купите гуся. Мы должны его отдать вместо того гуся, который жарится теперь у вас на кухне.

Когда Петерсон ушел, Холмс взял камень и поднес его к огню.

— Прелестная вещь! Хотя этому камню всего двадцать лет, за ним есть очень печальные истории, два убийства, одно самоубийство и несколько краж. Я его запрячу и напишу графине, что алмаз у нас.

— Считаешь Горнера невинным?

— Не могу этого сказать. Всего вероятнее, что

тут совершенно ни при чем Генри Бэйкер, который не знал ценности гуся. Я это установлю только тогда, когда мы получим ответ на наше объявление.

Я распрощался с ним, и мы условились, что зайду к шести часам вечера после обхода моих пациентов. Я немного запоздал, и была половина седьмого, когда я подходил к дому Холмса. У дома стоял какой-то высокого роста человек в шотландской шапке. Когда отворили входную дверь, мы оба одновременно вошли в комнату Холмса.

— Вы, вероятно, мистер Генри Бэйкер? — проговорил Шерлок с необычайной любезностью. — Садитесь, пожалуйста, к камину, мистер Бэйкер. Сегодня холодный день, и мне кажется, что вы жару переносите легче холода… А, Ватсон, ты как раз пришел вовремя… Это ваша шляпа, мистер Бэйкер?

— Да, несомненно, это моя шляпа.

Бэйкер был высокого роста, широкоплечий мужчина. Легкая краснота носа и щек и дрожание рук доказывали справедливость предположения относительно его пристрастия к вину. Его сальный черный сюртук был застегнут доверху, и воротник его был приподнят. Манжет на нем не было, и не было видно следов рубашки. Он

говорил медленно, видимо, обдумывая слова, и производил впечатление образованного, но впавшего в бедность человека.

— Мы несколько дней держали у себя вещи, — проговорил Холмс. — Так как думали, что вы заявите о себе.

Посетитель смущенно рассмеялся.

— Я был уверен, что мальчишки стащили и гуся, и шляпу, и не хотел… и признаться откровенно, не мог рисковать деньгами на объявление.

— Я вас понимаю. Что касается гуся, то мы его съели.

— Съели? — При этом он в волнении приподнялся.

— Да, ведь он скоро испортился бы. Но я думаю, что вот этот гусь, такой же свежий и жирный, вполне вас удовлетворит.

— О да, конечно! — ответил со вздохом облегчения мистер Бэйкер.

— Конечно, мы сохранили перья, ноги, голову вашего гуся, и если вы желаете…

Бэйкер расхохотался.

— Что я буду с ними делать? Нет, с вашего позволения я обращу все свое внимание на этот превосходный экземпляр.

Холмс бросил на меня взгляд и при этом едва

заметно пожал плечами.

— Вот ваша шляпа и гусь. Не можете ли вы мне сказать, где вы достали этого гуся? Мне никогда не приходилось видеть такой чудной птицы.

— Видите ли, — ответил Бэйкер, поднявшись и взяв под мышку гуся. — Я обычный клиент трактира «Альфа», у музея. В этом году наш славный хозяин Виндигер ввел такое нововведение, что при уплате нескольких пенсов в неделю каждый из постоянных гостей получает к Рождеству гуся. Я аккуратно производил свои взносы, а остальное вы сами знаете. Я очень рад, что нашел свою шляпу, ибо шотландская шапка моим годам совсем не подходит.

С комической важностью нахлобучил он свою шляпу, сделал нам торжественный поклон и удалился.

— Это, значит, мистер Генри Бэйкер, — проговорил Холмс, притворив за ним дверь.

— Ясно, что он тут ни при чем.

— Ты голоден, Ватсон?

— Не очень.

— В таком случае, я тебе предлагаю отложить ужин. А теперь направимся по свежим следам.

— Ладно.

Вечер был очень холодный. Через четверть часа

мы были в трактирчике «Альфа». Холмс заказал две кружки пива и обратился к краснощекому хозяину.

— Если ваше пиво так же вкусно, как и ваши гуси, то оно должно быть превосходно.

— Мои гуси? — хозяин был, видимо, удивлен.

— Да. Полчаса тому назад я говорил с мистером Генри Бэйкером, который принадлежит к вашему «гусиному клубу».

— Ах, да, теперь я понимаю. Но это были не мои гуси.

— А чьи же?

— Я купил две дюжины у Брекенриджа, в Ковент-Гарден.

— А, вот как! За ваше здоровье, хозяин, и за процветание вашего дома! До свидания.

— А теперь к Брекенриджу, — проговорил он, выходя на улицу и застегивая пальто.

Когда мы подошли к магазину Брекенриджа, то застали хозяина, как раз закрывавшего ставни с помощью приказчика.

— Добрый вечер! Холодная погодка, — проговорил Холмс.

Торговец кивнул головой и бросил вопросительный взгляд на моего спутника.

— Как я вижу, вы продали всех ваших гу-

сей? — продолжал Холмс, указывая на пустые мраморные столы.

— Можете получить завтра утром пятьсот штук.

— Мне нужно сейчас.

— Зайдите в лавку напротив, там еще найдете несколько штук.

— Совершенно верно. Но мне вас рекомендовали.

— Кто же?

— Хозяин «Альфы».

— Ах, да! Я ему продал две дюжины.

— Это были чудные гуси! Где вы их купили?

К моему удивлению, вопрос этот привел в ярость торговца.

— К чему вы клоните? — крикнул он, уставясь руками в бока. — Говорите прямо, без обиняков.

— Да я и то прямо говорю. Я бы хотел знать, кто вам продал гусей, поставленных вами в «Альфу».

— Ну, а я вам это не скажу. Вот и все!

— Я не понимаю, почему вы кипятитесь из-за такого пустяка?

— Кипячусь? Вы бы сами кипятились на моем месте! Я заплатил деньги за товар, и кончено дело. А то: «где гуси?», «кому вы продали гусей?», «что вы хотите за гусей?» Можно подумать, что

других гусей не существует!

— Я не имею ничего общего с теми людьми, которые расспрашивали вас о гусях! — заметил как бы мимоходом Холмс. — Видите ли, если вы не хотите отвечать, то мое пари не состоится. Я знаток живности и держал пари на пять шиллингов, что гусь доставлен из деревни.

— Но, в таком случае, вы проиграли пять шиллингов, — ответил торговец. — Гусь был городской!

— Ах, не может быть.

— А вам я говорю, что это так.

— А я этому не верю! Я слишком большой знаток.

— Хотите держать пари?

— Ведь я знаю, что вы проиграете, так как я прав. Все равно, я ставлю соверен, только чтоб проучить вас.

Торговец злобно ухмыльнулся.

— Принеси мне книги, Билл, — крикнул он.

Мальчишка принес маленькую тетрадку и толстую книгу, переплет которой был весь в жирных пятнах.

— Вот смотрите, упрямец, в этой тетради имена моих поставщиков. Вот, прочтите это имя.

— «Мистрис Окшотт, 117-я улица, Брикстон,

249», — прочел Холмс.

— Так. А теперь откройте 249-ю страницу. Вы видите?

«Мистрис Окшотт, поставщица яиц и живности».

— Какая последняя поставка?

— «Двадцать четвертого декабря. Двадцать четыре гуся по семь с половиной шиллингов».

— Так. А что написано под этим?

— «Продано мистеру Виндигеру, хозяину «Альфы», по двенадцать шиллингов».

— Ну, что вы теперь скажете?

Холмс выглядел совершенно смущенным. Он вынул соверен, бросил его на стол и вышел с недовольным видом. Отойдя некоторое расстояние от магазина, он от души расхохотался.

— Ну, Ватсон, теперь загадка должна скоро разрешиться. Вопрос в том, пойдем ли мы сейчас к мистрис Окшотт или отложим это до завтрашнего дня. Из слов этого грубияна ясно видно, что кроме меня гусями интересовались и другие. И я бы…

Вдруг громкий крик донесся из только что оставленного нами магазина. Мы вернулись и увидали у магазина какого-то маленького человека, ругавшегося с хозяином, потрясавшим кулаками.

— Убирайтесь вы к черту с вашими гусями! Если ты еще раз вернешься, я натравлю на тебя собак. Пускай придет сама мистрис Окшотт, я ей дам ответ. А тебя это не касается!

— Ведь один гусь был мой, — пищал человек.

— Обратись к мистрис Окшотт!

— Она послала меня к вам.

— Обращайся к кому хочешь, мне до этого дела нет! Вон отсюда! — Он сделал угрожающее движение, и человечек удалился.

— Вероятно, нам не придется быть у этой торговки, — шепнул Холмс. — Пойдем-ка. Может быть, этот человек будет нам полезен.

Он быстро догнал человека и хлопнул его по плечу. Тот быстро обернулся, и я увидал при свете фонаря, что краска сошла с его лица.

— Кто вы такой? Что вам нужно? — спросил он нетвердым голосом.

— Извините, — ответил вежливо Холмс, — но я случайно был свидетелем вашего разговора с торговцем и, пожалуй, могу вам оказать пользу.

— Вы? Кто вы такой? Как вы можете знать об этом?

— Меня зовут Шерлок Холмс. Моя специальность — знать то, чего не знают другие.

— Но об этом вы ничего не можете знать.

— Прошу извинения, но я знаю все. Вы бы хотели найти пару гусей, проданных мистрис Окшотт с улицы Брикстон торговцу Брекенриджу, а этим последним хозяину трактира «Альфа» Виндигеру, а Виндигером — нескольким клиентам, к числу которых принадлежит мистер Генри Бэйкер.

— О, мистер, вы не можете представить, какое значение имеет для меня все это! — воскликнул маленький человек.

Холмс позвал проезжавшего извозчика.

— В таком случае, самое лучше будет, если мы это обсудим в уютной комнате, а не на улице, — сказал он. — Но прежде всего скажите мне, пожалуйста, с кем я имею удовольствие говорить?

Человек замялся.

— Меня зовут Джон Робинсон, — ответил он затем, бросив взгляд в сторону.

— Нет, нет, ваше настоящее имя, — проговорил вежливо Холмс.

Краска залила бледное лицо незнакомца.

— Хорошо, мое настоящее имя Джэмс Ридер.

— Ага, главный лакей в гостинице «Космополитен». Садитесь, пожалуйста, я вам дам все необходимые справки.

Маленький человек остановился, бросая на нас

полуиспуганные, полунедоумевающие взгляды. Затем он сел на извозчика, и через полчаса мы очутились в квартире моего друга.

В дороге мы не обменялись ни одним словом; только порывистое дыхание моего спутника и нервное подергивание его рук выдавали его волнение.

— Вот и приехали! — проговорил весело Холмс, входя в комнату. — В камине горит огонь. Вы замерзли, мистер Ридер. Садитесь, пожалуйста, к камину. Позвольте мне только надеть туфли. Вот так! Значит, вы хотели бы знать, какая участь постигла гусей?

— Вот именно.

— Или, вернее, одного гуся? Ведь вы интересуетесь одним гусем — белым, с черными полосами.

Ридер задрожал от волнения.

— Ах! — воскликнул он. — Можете вы мне сказать, куда он попал?

— Он попал сюда.

— Сюда?

— Да, это был чудный гусь. То есть, вернее, гусыня. Я нисколько не удивляюсь, что вы так интересуетесь. После того, как ее зарезали, она снесла голубое яйцо. Чудное яичко, вот оно.

Наш гость приподнялся и схватился правой ру-

кой за край камина. Холмс открыл свою шкатулку и вынул голубой алмаз, сверкавший чудным огнем.

— Игра кончена, Ридер, — проговорил спокойно Холмс. — Помоги ему сесть, Ватсон. У него недостаточно нервов, чтоб быть мазуриком. Дай ему глоток коньяку. Вот так! У меня все козыри в руках, так что вам скрывать нечего. Вы слышали об этом голубом алмазе графини Моркар, Ридер?

— Да, горничная графини рассказывала мне о нем, — ответил он хриплым голосом.

— Ага, искушение стать сразу богатым человеком было слишком велико, и вы нисколько не постеснялись в выборе средств. Вы знали, что этот Горнер уже раз попался в подобной проделке и что поэтому подозрение падает на него. Что же вы сделали? Вы устроили с вашей сообщницей — горничной графини — так, что для исправления каминной решетки был позван Горнер. После его ухода вы взломали шкатулку, подняли шум и указали на Горнера, которого арестовали. Затем…

Ридер бросился перед моим другом на колени.

— Ради самого Создателя, сжальтесь! — воскликнул он. — Подумайте о моем отце, о моей матери. Ведь они умрут с горя. Я еще никогда не совершал преступления! И клянусь вам, я всегда

буду честным! Клянусь вам всем, что для меня свято! О, только ради Создателя, не предавайте меня суду!

— Садитесь, — ответил строго Холмс. — Расскажите мне, как было дальше дело. Каким образом в гусе оказался камень, и как этот гусь попал на рынок? Говорите нам одну только правду, в этом все ваше спасение.

Ридер повел языком по своим засохшим губам.

— Я вам расскажу, как все произошло, — начал он. — Когда Горнера арестовали, я решил, что надо немедленно спрятать камень, так как полиции может прийти мысль обыскать меня и мою комнату. Поэтому я отправился к своей сестре. Она замужем за Окшоттом и торгует живностью. Я был в страшном волнении. По дороге каждого встречного я принимал за полицейского, и холодный пот выступал на моем лбу. Сестра спросила меня, что случилось, и почему я так бледен. Я ей сказал, что у нас в гостинице случилась кража. Затем я вышел на двор и начал за трубкой размышлять о том, что мне теперь делать.

У меня был раньше друг по имени Моцли, свихнувшийся с пути и только что теперь вышедший из тюрьмы. Он мне не раз рассказывал об уловках воров, прячущих украденные вещи. Я знал, что

он меня не выдаст, так как я кое-что знал о нем, и поэтому я решил довериться ему. Он, наверное, укажет мне средство превратить камень в деньги. Но каким образом попасть к нему? На улице меня могли каждую минуту арестовать, обыскать, и тогда я пропал. Я прислонился к стене, передо мной плескались гуси; вдруг мне пришла в голову блестящая мысль. Сестра обещала мне подарить к Рождеству самого жирного гуся. Я решил взять его теперь и скрыть камень в его зобу. Я поймал одного гуся, раскрыл ему клюв и протолкнул ему в горло драгоценный камень. Но он начал так гоготать, что моя сестра вышла и спросила, что случилось. Только что я ей собирался ответить, как гусь вырвался из моих рук и смешался с другими.

«Что ты делаешь, Джэмс?» — спросила она.

«Ведь ты же обещала подарить мне на Рождество гуся. Вот я и смотрел, какой из них жирнее».

«Для тебя мы уже отложили гусыню, вон ту большую, белую. У нас их двадцать шесть штук — одна для тебя, другая для нас и двадцать четыре для продажи».

«Благодарю тебя, Маджи, — сказал я. — Но я предпочитаю взять ту, которая только что была у меня в руках».

«Как хочешь. Какую же ты выбрал?»

«Вот ту белую, с черными полосами».

«Отлично, возьми ее.»

Я взял гуся и отправился к Моцли. Я рассказал ему свою выдумку, и он чуть не лопнул от хохота. Когда же мы разрезали гуся, камня в нем не оказалось. Очевидно, произошла страшная ошибка. Я тотчас же бросился к сестре, но на птичьем дворе гусей больше не оказалось. Они были проданы Брекенриджу, в Ковент-Гарден. Я сейчас же бросился к нему, но он уже продал всю партию и ни за что не хотел мне сказать, кому именно. Вы его сегодня сами слышали. Сестра говорит, что я схожу с ума. Иногда мне это самому кажется. Теперь я обесчещен на всю жизнь! Господи, спаси меня!

Он закрыл лицо руками и разразился рыданиями.

Наступило молчание, прерываемое только тяжелым дыханием несчастного и стуком пальцев Шерлока Холмса по столу. Наконец Холмс встал и открыл дверь.

— Уходите! — проговорил он.

— Что? О, Господь вас за это вознаградит!

— Ни слова! Ступайте!

Ридер не заставил себя просить, и через несколько секунд донесся звук захлопываемой двери.

— В сущности, Ватсон, — проговорил Холмс, принимаясь за трубку, — я вовсе не обязан помогать полиции. Может быть, я должен был бы донести на Ридера, но я думаю, что молчанием спасаю от гибели человеческую душу. Он больше преступления не совершит. Горнер, конечно же, завтра же будет освобожден.

Ч. Диккенс


Ч. Диккенс
Рождественская песнь
в прозе

Рождественская песнь в прозе
(Перевод И. Пушечникова)



Строфа I
Дух Марли

Начнем с того, что Марли умер. В этом нет ни малейшего сомнения. Акт о его погребении был подписан пастором, причетником, гробовщиком и распорядителем похорон. Сам Скрудж подписал этот акт. А имя Скруджа служило ручательством на бирже за все, к чему бы он ни приложил руку...

Итак, старик Марли был мертв, как дверной гвоздь.

Заметьте, — я не хочу сказать, будто я самолично убедился, что есть нечто особенно мертвое

в дверном гвозде. Я-то склонен считать самой мертвой вещью из всех железных изделий скорее гробовой гвоздь. Но в сравнениях — мудрость отцов наших, и ради спокойствия отечества не подобает мне недостойными руками касаться их.

Позвольте же поэтому еще настойчивее повторить, что Марли был мертв именно как дверной гвоздь.

Знал ли Скрудж об этом? Разумеется, знал. Да и могло ли быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами в продолжение, я не знаю, скольких лет. Скрудж был его единственным душеприказчиком, единственным распорядителем, единственным преемником, единственным наследником, единственным другом, единственным поминальщиком, и, однако, Скрудж был вовсе не так ужасно поражен этим печальным событием, чтобы не остаться даже в самый день похорон истым дельцом и не ознаменовать его одной несомненно хорошей сделкой.

Но упоминание о похоронах Марли заставляет меня вернуться к тому, с чего я начал. Нет ни малейшего сомнения, что Марли умер. И этого никак нельзя забывать, иначе не будет ничего удивительного в истории, которую я намерева-

юсь рассказать. Ведь если бы мы не были твердо убеждены в том, что отец Гамлета умер до начала представления, то и его скитания по ночам, при восточном ветре, вдоль стен его же собственного замка были бы ничуть не замечательнее поступка любого господина средних лет, ночью вышедшего прогуляться куда-нибудь — ну, скажем, на кладбище св. Павла, — только затем, чтобы поразить своего слабоумного сына.

Скрудж не стер с вывески имя старика Марли: оно и после смерти его еще долго красовалось над дверью конторы: «Скрудж и Марли». Новички звали Скруджа иногда Скруджем, а иногда и Марли, и он отзывался и на то, и на другое имя. О, это было совершенно безразлично для него, — для этого старого грешника и скряги, для этой жилы и паука, для этих завидущих глаз и загребущих рук! Твердый и острый, как кремень, из которого никакая сталь не выбивала никогда ни единой благородной искры, он был скрытен, сдержан и замкнут в самом себе, как устрица в своей раковине. Внутренний холод оледенил его поблекшие черты, заострил его нос, покрыл морщинами щеки, сделал походку мертвенной, глаза красными, тонкие губы синими и резко сказывался в его скрипучем голосе. Точно заиндевели

его голова, его брови, его колючий подбородок. Он вносил с собою этот холод повсюду; холодом дышала его контора — и такой же была она и в рождественские дни.

Окружающее мало влияло на Скруджа. Не согревало его лето, не знобила зима. Никакой ветер не был так лют, никакой дождь не был так упорен, как он, никакой дождь не шел так упрямо, как шел Скрудж к своей цели, никакая адская погода не могла сломить его. Ливень, вьюга, град, крупа имели только одно преимущество перед ним. Они часто бывали щедры, Скрудж — никогда. Никогда и никто не останавливал его на улице радостным восклицанием: «Как поживаете, дорогой мой! Когда же вы заглянете ко мне?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руки, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, ни единая душа не осведомилась у него ни разу за всю его жизнь, как пройти на ту или другую улицу. Даже собаки слепцов, казалось, раскусили Скруджа и, завидя его, тащили своих хозяев под ворота и во дворы, виляли хвостами и как будто хотели сказать: «Лучше вовсе не иметь глаз, хозяин, чем иметь такие глаза».

Но какое дело было до этого Скруджу? Это-то ему и нравилось. Пробираться по тесной жизнен-

ной тропе, пренебрегая всяким человеческим чувством, — вот что, по словам людей знающих, было, целью Скруджа.

Однажды — в один из лучших дней в году, в сочельник, — старый Скрудж работал в своей конторе. Стояла ледяная, туманная погода, и он слышал, как снаружи люди, отдуваясь, бегали взад и вперед, колотили себя руками и топали, стараясь согреться.

На городской башне только что пробило три часа, но было уже совсем темно: с самого утра стояли сумерки, и в окнах соседних контор красноватыми пятнами мерцали сквозь бурую мглу свечи. Туман проникал в каждую щель, в каждую замочную скважину и был так густ, что противоположные дома казались призраками, хотя двор был очень узок. Глядя на это грязное облако, опускавшееся все ниже и все омрачавшее, можно было подумать, что природа на глазах у всех затевает что-то страшное, огромное.

Дверь своей комнаты Скрудж не затворял, чтобы иметь возможность постоянно наблюдать за своим помощником, переписывавшим письма в маленькой, угрюмой и сырой каморке рядом. Невелик был огонек в камине Скруджа, а у писца он был и того меньше: подкинуть угля нельзя

было, — Скрудж держал угольный ящик в своей комнате. Как только писец брался за лопатку, Скрудж останавливал его замечанием, что им, кажется, придется скоро расстаться. И писец закутал шею своим белым шарфом и попытался было согреться у свечки, в чем, однако, не имея пылкого воображения, потерпел неудачу.

— С праздником, дядя, с радостью! Дай вам Бог всех благ земных! — раздался чей-то веселый голос.

То крикнул племянник Скруджа, так внезапно бросившийся ему на шею, что Скрудж только тут заметил его появление.

— Гм!.. — отозвался Скрудж. — Вздор!

Племянник так разгорячился от быстрой ходьбы по морозу и туману, что его красивое лицо пылало, глаза искрились, и от дыхания шел пар.

— Это Рождество-то вздор, дядя? — воскликнул он. — Вы, конечно, шутите?

— Нисколько, — сказал Скрудж. — С радостью! Какое ты имеешь право радоваться? Какое основание?

— Но тогда, — весело возразил племянник, — какое право имеете вы быть печальным? Какое основание имеете вы быть мрачным? Вы достаточно богаты.

Скрудж, не найдясь, что ответить, повторил только: «Гм!.. Вздор!»

— Не сердитесь, дядя! — сказал племянник.

— Как же мне не сердиться, — отозвался дядя, — когда я живу среди таких дураков, как ты? С радостью, с Рождеством! Отстань ты от меня со своим Рождеством! Что такое для тебя Рождество, как не время расплаты по счетам при совершенно пустом кармане, как не день, когда ты вдруг вспоминаешь, что постарел еще на год и не сделался богаче ни на йоту, как не срок подвести балансы и найти во всех графах за все двенадцать месяцев дефицит? Будь моя воля, — продолжал Скрудж с негодованием, — я бы каждого идиота, бегающего с подобными поздравлениями, сварил бы вместе с его рождественским пудингом и воткнул бы в его могилу остроли-стовый кол! Непременно бы так и сделал!

— Дядя! — возразил племянник.

— Племянник! — перебил его Скрудж строго. — Справляй Рождество по-своему, а мне позволь справлять его, как мне хочется.

— Справлять! — воскликнул племянник. — Но ведь вы его совсем не справляете!

— Ну, так и позволь мне совсем не справлять его, — сказах Скрудж. — А ты справляй себе на

здоровье! Много пользы извлек ты из этих празднований?!

— Мог бы извлечь, — отозвался племянник, — но смею сказать, что я никогда не стремился к этому. Я только всегда был убежден, всегда думал, что Рождество, помимо священных воспоминаний, если только можно отделить от него эти воспоминания — есть время хорошее, время добра, всепрощения, милосердия, радости, единственное время во всем году, когда кажется, что широко раскрыто каждое сердце, когда считают каждого, даже стоящего ниже себя, равноправным спутником по дороге к могиле, а не существом иной породы, которому подобает идти другим путем. И поэтому, дядя, я верю, что Рождество, которое не принесло мне еще ни полушки, все-таки принесло и будет приносить много пользы, и говорю: да благословит его Бог!

Писец в своей сырой каморке не выдержал и зааплодировал, но спохватился и стал мешать уголья в камине, причем погасил в нем и последнюю слабую искру.

— Еще один звук, — сказал Скрудж, — и вы отпразднуете ваше Рождество, потеряв место. — Вы выдающийся оратор, сэр, — прибавил он, обращаясь к племяннику. — Удивляюсь, почему вы

не в парламенте.

— Не гневайтесь, дядя! Слушайте, приходите к нам завтра обедать.

Скрудж, в ответ на это, послал его к черту.

— Да что с вами? — воскликнул племянник. — За что вы сердитесь на меня?

— Зачем ты женился? — сказал Скрудж.

— Потому что влюбился.

— Потому что влюбился! — проворчал Скрудж таким тоном, точно это было еще более нелепо, чем поздравление с праздником. — До свиданья!

— Дядя, но вы ведь и до моей женитьбы никогда не заглядывали ко мне. Почему же вы ссылаетесь на это теперь?

— До свиданья! — сказал Скрудж.

— Но ведь мне ничего не надо от вас, я ничего у вас не прошу, — почему же мы не можем быть друзьями?

— До свиданья! — повторил Скрудж.

— Мне от всей души жаль, что вы так упрямы. Между нами никогда не было никакой ссоры, виновником которой являлся бы я. Ради праздника я и теперь протянул вам руку и сохраню праздничное настроение до конца. С праздником, дядя, с праздником!

— До свиданья! — сказал Скрудж.

— И с счастливым новым годом!

— До свиданья! — сказал Скрудж.

Однако племянник вышел из конторы, так и не сказав ему ни единого неприятного слова. В дверях он остановился, чтобы поздравить и писца, который, хоть и окоченел, был все-таки теплее Скруджа и сердечно отозвался на приветствие.

— Вот еще такой же умник, — проговорил Скрудж, услыша это, — господин с жалованьем в пятнадцать шиллингов в неделю, с супругой, детками, радующийся праздникам! Я, кажется, переселюсь в Бедлам!

А писец, затворяя дверь за племянником Скруджа, впустил еще двух господ. Это были почтенные, прилично одетые люди, которые, сняв шляпы, вошли в контору с книгами и бумагами и вежливо поклонились.

— Скрудж и Марли, не правда ли? — сказал один из них, справляясь со списком. — Я имею честь говорить с г. Скруджем или г. Марли?

— Г. Марли умер ровно семь лет тому назад, — возразил Скрудж. — Нынче как раз годовщина его смерти.

— Мы не сомневаемся, что его щедрость целиком перешла к пережившему его компаньону, — сказал господин, протягивая Скруджу подписной

лист. И сказал совершеннейшую правду, ибо Скрудж и Марли стоили друг друга. При зловещем слове «щедрость» Скрудж нахмурился, покачал головой и подал лист обратно.

— В эти праздничные дни, — сказал господин, взяв перо в руки, — еще более, чем всегда, подобает нам заботиться о бедных и сирых, участь коих заслуживает теперь особенного сострадания. Тысячи людей терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч лишены самых простых удобств.

— Разве нет тюрем? — опросил Скрудж.

— Их чересчур много, — сказал господин, снова кладя перо на стол.

— А работных домов? — продолжал Скрудж. — Разве они уже закрыты?

— Нет, — отозвался господин, — но об этом можно только сожалеть.

— Разве приюты и законы о призрении бедных бездействуют? — спросил Скрудж.

— Напротив, у них очень много работы.

— О! А я было испугался, заключив из ваших первых слов, что они почему-нибудь приостановили свою общеполезную деятельность. Очень рад слышать противное.

— Убеждение в том, что эти учреждения не оправдывают своего назначения и не дают долж-

ной пищи ни душе, ни телу народа, побудило нас собрать по подписке сумму, необходимую для приобретения бедным пищи, питья и топлива. Время праздников наиболее подходит для этой цели, ибо теперь бедняки особенно резко чувствуют свою нужду, люди же состоятельные менее скупятся. — Сколько прикажете записать от вашего имени?

— Ничего не надо писать, — ответил Скрудж.

— Вы желаете остаться неизвестным?

— Я желаю, чтобы оставили меня в покое, — сказал Скрудж. — Вот и все. С своей стороны я содействую процветанию тех учреждений, о которых только что упоминал: они обходятся мне недешево; а посему пусть нуждающиеся отправляются туда.

— Многие из них охотнее умрут…

— И отлично сделают, по крайней мере этим они уменьшат избыток народонаселения. Впрочем, извините меня, я тут ни при чем.

— Но могли бы быть при чем

— Не мое это дело, — возразил Скрудж. — Для каждого вполне достаточно исполнять свои собственные дела и не вмешиваться в чужие. Я же и так неустанно забочусь о своих. До свиданья, господа.

Убедившись, что настаивать бесполезно, посетители удалились.

Довольный собою и в необычно шутливом настроении, Скрудж снова принялся за работу.

Между тем мрак и туман сделались так густы, что появились факельщики, предлагавшие освещать дорогу проезжавшим экипажам. Старинная церковная башня, с готической амбразуры которой всегда косился на Скруджа мрачный викинг, сделалась невидимой; колокол вызванивал теперь часы и четверти где-то в облаках, и каждый удар его сопровождался дребезжанием, точно там, в вышине, стучали в чьей-то окоченевшей от холода голове зубы. Становилось все холоднее. Против конторы Скруджа рабочие чинили газовые трубы, разведя большой огонь, и около него столпилась кучка оборванцев и мальчишек: они с наслаждением грели руки и мигали глазами перед пламенем. Водопроводный кран, который забыли запереть, изливал воду, превращавшуюся в лед. Свет из магазинов, в которых ветви и ягоды остролиста потрескивали от жары оконных ламп, озарял багрянцем лица проходящих. Лавки с битой птицей и овощами совершенно преобразились, представляя дивное зрелище, и трудно было поверить, что со всем этим великолепием

связывалось такое скучное слово, как торговля.

Лорд-мэр в своем дворце отдавал приказания пятидесяти поварам и дворецким отпраздновать Рождество сообразно его сану. И даже маленький портной, которого он оштрафовал в прошлый понедельник на пять шиллингов за пьянство и буйство на улице, мастерил у себя на чердаке пудинг, в то время как его тщедушная жена, захватив с собой ребенка, пошла в мясную лавку.

Туман густел, холод становился все более пронизывающим, колючим, нестерпимым. Если бы добрый св. Дунстан не своим обычным орудием, а этим холодом хватил бы по носу дьявола, тот, наверное, взвыл бы как следует. Некий юный обладатель крохотного носика, до которого лютый мороз добрался, как собака до кости, прильнул к замочной скважине Скруджа с намерением пропеть Рождественскую песнь. Но при первых же звуках:

Пусть вас Бог благословит,

Пусть ничто вас не печалит, —

Скрудж с такой энергией схватил линейку, что певец в ужасе бросился бежать, предоставляя замочную скважину туману и морозу, столь близкому душе Скруджа.

Наконец, наступил час запирать контору. С неохотой слез Скрудж со своего кресла, подавая тем знак давно ожидавшему этой минуты писцу, что занятия окончены, и тот мгновенно потушил свечу и надел шляпу.

— Вы, вероятно, хотите освободиться от занятий на весь завтрашний день? — сказал Скрудж

— Если это удобно, сэр.

— Это не только неудобно, это еще и несправедливо, — сказал Скрудж. — Ведь если бы я вычел в этот день полкроны, я убежден, что вы сочли бы себя обиженным.

Писец слабо улыбнулся.

— И однако, — сказал Скрудж, — вы и не думаете, что я могу быть обсчитан, платя вам даром жалованье.

Писец заметил, что это бывает только раз в году.

— Слабое оправдание, чтобы тащить из моего кармана каждое двадцать пятое декабря, — сказал Скрудж, застегивая пальто вплоть до подбородка. — Но так и быть, весь завтрашний день в вашем распоряжении. Послезавтра утром приходите пораньше.

Писец пообещал, и Скрудж, ворча, вышел. Писец в одну минуту запер контору и, размахивая

длиннейшими концами своего шарфа (пальто у него совсем не было), прокатился в честь сочельника раз двадцать по льду в Коригилле вслед за шеренгой мальчишек и во весь дух пустился домой.

Скрудж съел свой скучный обед в своем скучном трактире и, перечитав все газеты, скоротав остаток вечера за счетоводной книгой, отправился домой спать. Он жил там же, где когда-то жил его покойный компаньон. То была анфилада комнат в мрачном и громадном здании на заднем дворе, которое наводило на мысль, что оно попало сюда еще во дни своей молодости, играя в прятки с другими домами, да так и осталось, не найдя выхода.

Здание было старое и угрюмое. Никто, кроме Скруджа, не жил в нем, ибо все другие комнаты отдавались в наем под конторы. Двор был так темен, что даже Скрудж, отлично знавший каждый его камень, с трудом, ощупью, пробирался по нему. В морозном тумане, окутывавшем старинные черные ворота, чудился сам Гений Зимы, сторживший их в печальном раздумье.

Поистине, в молотке, висевшем у двери, не было ничего странного, разве только то, что он отличался большими размерами. Сам Скрудж

видел его ежедневно утром и вечером, все время своего пребывания здесь. При том же Скрудж, как и все обитатели лондонского Сити, не исключая и старшин, и членов городского совета и цехов, — да простится мне великая дерзость! — не обладал ни малейшим воображением.

Не надо также забывать и того, что до сегодняшнего дня, когда Скрудж упомянул имя Марли, он ни разу не вспомнил своего усопшего друга.

А поэтому пусть, кто может, объяснит мне теперь, как произошло то, что, вкладывая ключ в замок, Скрудж увидел в молотке, хотя последний не подвергся ровно никакой перемене, лицо Марли.

Лицо Марли! Оно не было окутано темнотой, подобно другим предметам на дворе, но, окруженное зловещим сиянием, напоминало испорченного морского рака в темном погребе. Лицо не было сурово или искажено гневом, но было именно такое, как при жизни Марли, даже с его очками, приподнятыми на лоб. Волосы странно шевелились, точно от дуновения горячего воздуха, широко раскрытые и неподвижные глаза, свинцовый цвет лица, — все это делало его ужасным; но главный ужас все-таки скрывался не в самом лице или выражении его, а в чем-то

постороннем, непостижимом.

Видение тотчас же снова становилось молотком, как только Скрудж пристально вглядывался в него.

Было бы неправдой сказать, что Скрудж не испугался и не ощутил волнения, забытого им с самых детских лет. Однако после некоторого колебания он решительно взялся за ключ, крепко повернув его, и войдя в комнату, тотчас зажег свечу.

Помедлив в нерешительности несколько мгновений, прежде чем запереть дверь, он осторожно оглянулся, точно боясь увидеть за дверью косичку Марли. Но за дверью не было ничего, кроме винтов и гаек молотка. И, издав неопределенный звук, Скрудж крепко захлопнул дверь.

Стук, подобно грому, раскатился по всему дому. Каждая комната в верхнем этаже дома и каждая бочка в винном погребе отвечали ему. Заперев дверь, Скрудж медленно прошел через сени вверх по лестнице, на ходу поправляя свечу.

По этой лестнице можно было бы провести погребальную колесницу, поставив ее поперек, дышлом к стене, а дверцами к перилам, причем осталось бы еще свободное пространство. Может быть, это и заставило Скруджа вообразить, что

он видит во мраке погребальную колесницу, которая двигается сама собою. Полдюжина газовых фонарей с улицы слабо освещала сени, и, следовательно, при свете сальной свечи Скруджа в них было довольно темно.

Скрудж шел вверх, мало беспокоясь об этом. Темнота стоит дешево, а это Скрудж очень ценил. Однако, прежде чем запереть за собой тяжелую дверь, он под влиянием воспоминания о лице Марли прошелся по комнатам — посмотреть, все ли в исправности.

В гостиной, спальне, чулане все было как следует: никого не было ни под столом, ни под диваном, маленький огонек тлел за решеткой камина. Вот ложка, кастрюлька с овсянкой, в устье камина, — и никого ни под постелью, ни в стенном шкапу, ни в шлафроке, как-то подозрительно висевшем на стене. Все как всегда: чулан, каминная решетка, старые башмаки, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках, кочерга. Успокоившись, Скрудж запер дверь, повернув ключ два раза, чего прежде никогда не делал.

Предохранив себя таким образом от нападения, Скрудж снял галстук, надел шлафрок, туфли и ночной колпак и сел перед огнем, чтобы поесть овсянки.

Для такой лютой ночи этот огонек был чересчур мал. Скрудж должен был сесть очень близко к нему и нагнуться, чтобы от этой горсточки углей почувствовать едва уловимое дыхание теплоты.

Старинный камин, сложенный, вероятно, давным-давно голландским купцом, был обложен голландскими кафелями, украшенными рисунками из Св. Писания. Тут были Каин и Авель, дочери фараона, царица Савская, вестники-ангелы, парящие в воздухе на облаках, похожих на перины, Авраам, Валтасар и апостолы, отправляющиеся в плавание на лодках, напоминающих соусники, и сотни других забавных фигур. И, однако, лицо Марли, умершего семь лет тому назад, поглощало все. Если бы каждый чистый кафель мог запечатлеть на своей поверхности образ, составленный из разрозненных представлений Скруджа, то на каждом таком кафле появилось бы изображение головы старика Марли.

— Вздор все это! — сказал Скрудж и, пройдясь по комнате взад и вперед, снова сел. Откинув голову на спинку стула, он случайно взглянул на старый, остававшийся без употребления колокольчик, предназначенный неизвестно для какой цели и проведенный в комнату в верхнем этаже дома. Смотря на него Скрудж с безграничным удив-

лением и необъяснимым ужасом заметил, что колокольчик начал качаться. Сначала он качался так тихо, что звука почти не было, но потом зазвонил громче, и тотчас же к нему присоединились все колокольчики в доме.

Быть может, звон длился и не более минуты, но Скруджу эта минута показалась часом. Колокольчики замолкли все сразу, а вслед за ними откуда-то из глубины послышался шум, подобный лязгу тяжелой цепи, которую тащили по бочкам в винном погребе. Скрудж тотчас же припомнил те рассказы, в которых говорилось, что в тех домах, где водится нечистая сила, появлению духов сопутствует лязг влекомых цепей.

Дверь погреба распахнулась с глухим шумом настежь, и Скрудж услышал, как подземный шум, усиливаясь, поднимался вверх по лестнице, прямо по направлению к его двери.

— Все это вздор! — сказал Скрудж. — Я не верю в эту чертовщину.

Однако он даже изменился в лице, когда дух, пройдя сквозь тяжелую дверь, очутился в комнате перед его глазами.

При его появлении едва тлевший огонек подпрыгнул, как будто хотел воскликнуть: «Я знаю его! Это дух Марли!» И точно — это было его лицо,

сам Марли со своей косичкой, в своем обычном жилете, узких брюках и сапогах, с торчащими кисточками, которые шевелились так же, как его косичка, полы сюртука и волосы на голове. Цепь, которую он влачил за собою, опоясывала его. Она была длинна и извивалась как хвост. Скрудж хорошо заметил, что она была сделана из денежных ящиков, ключей, висячих замков, счетных книг, разных документов и тяжелых стальных кошельков. Тело призрака было прозрачно, и Скрудж, зорко приглядясь к нему, мог видеть сквозь жилет две пуговицы сзади на сюртуке.

Скрудж часто слышал, как говорили, что у Марли нет ничего внутри, но доныне он не верил этому. Не поверил даже и теперь, хотя дух был прозрачен и стоял перед ним. Что-то леденящее, чувствовал он, исходило от его мертвых глаз. Однако он хорошо заметил то, чего не замечал раньше, — ткань платка в складках, окутывавшего его голову, и подбородок. Но все еще не доверяя своим чувствам, он пытался бороться с ними.

— Что вам от меня нужно? — сказал Скрудж едко и холодно, как всегда. — Чего вы хотите?

— Многого! — ответил голос, голос самого Марли.

— Кто вы?

— Спросите лучше, кто я был?

— Кто вы были? — сказал Скрудж громче. — Для духа вы слишком требовательны. (Скрудж хотел было употребить выражение «придирчивы», как более подходящее.)

— При жизни я был вашим компаньоном, Яковом Марли.

— Но, может быть, вы сядете? — спросил Скрудж, во все глаза глядя на него.

— Могу и сесть.

— Пожалуйста.

Скрудж сказал это, чтобы узнать, будет ли в состоянии призрак сесть; он чувствовал, что в противном случае предстояло бы трудное объяснение..

Но дух сел с другой стороны камина с таким видом, как будто делал это постоянно.

— Вы не верите в меня? — спросил дух.

— Не верю, — сказал Скрудж.

— Какого же иного доказательства, помимо ваших чувств, вы хотите, чтобы убедиться в моем существовании?

— Не знаю, — сказал Скрудж.

— Почему же вы сомневаетесь в своих чувствах?

— Потому, — сказал Скрудж, — что всякий пу-

стяк действует на них. Маленькое расстройство желудка — и они уже обманывают. Может быть, и вы — просто недоваренный кусок мяса, немножко горчицы, ломтик сыра, гнилая картофелина. Дело-то, может быть, скорее сводится к какому-нибудь соусу, чем к могиле.

Скрудж совсем не любил шуток, и в данный момент ему нисколько не было весело, но он шутил для того, чтобы таким путем отвлечь свое внимание и подавить страх, ибо даже самый голос духа заставлял его дрожать до мозга костей. Для него было невыразимой мукой просидеть молча, хотя бы одно мгновение, смотря в эти стеклянные, неподвижные глаза.

Но всего ужаснее была адская атмосфера, окружавшая призрак. Хотя Скрудж и не чувствовал ее, но ему было видно, как у духа, сидевшего совершенно неподвижно, колебались, точно под дуновением горячего пара из печки, волосы, полы сюртука, косичка.

— Видите ли вы эту зубочистку, — сказал Скрудж, быстро возвращаясь к нападению, побуждаемый теми же чувствами и желая хоть на мгновение отвратить от себя взгляд призрака.

— Да, — ответил призрак…

— Но вы, однако, не смотрите на нее, — сказал

Скрудж.

— Да, не смотрю, но вижу.

— Отлично, — сказал Скрудж. — Так вот, стоит мне проглотить ее, и всю жизнь меня будет преследовать легион демонов, — плод моего воображения. Вздор! Повторяю, что все это вздор!

При этих словах дух испустил такой страшный вопль и потряс цепью с таким заунывным звоном, что Скрудж едва удержался на стуле и чуть не упал в обморок. Но ужас его еще более усилился, когда дух снял с своей головы и подбородка повязку, точно в комнатах было слишком жарко, и его нижняя челюсть отвалилась на грудь.

Закрыв лицо руками, Скрудж упал на колени:

— Пощади меня, страшный призрак! Зачем ты тревожишь меня?

— Раб суеты земной, человек, — воскликнул дух, — веришь ли ты в меня?

— Верю, — сказал Скрудж. — Я должен верить. Но зачем духи блуждают по земле? Зачем они являются мне?

— Так должно быть, — возразил призрак, — дух, живущий в каждом человеке, если этот дух был скрыт при жизни, осужден скитаться после смерти среди своих близких и друзей и — увы! — созерцать то невозвратно потерянное, что могло

дать ему счастье.

И тут призрак снова испустил вопль и потряс цепью, ломая свои бестелесные руки.

— Вы в цепях, — сказал Скрудж дрожа. — Скажите почему?

— Я ношу цепь, которую сковал при жизни, — ответил дух. — Я ковал ее звено за звеном, ярд за ярдом. Я ношу ее не по-своему доброму желанию. Неужели ее устройство удивляет тебя?

Скрудж дрожал все сильнее и сильнее.

— Разве ты не желал бы знать длину и тяжесть цепи, которую ты носишь, — продолжал дух. — Она была длинна и тяжела семь лет тому назад, но с тех пор сделалась значительно длиннее. Она очень тяжела.

Скрудж посмотрел вокруг себя, нет ли и на нем железного каната в пятьдесят или шестьдесят сажен, но ничего не увидел.

— Яков, — воскликнул он. — Старый Яков Марли! Скажи мне что-нибудь в утешение, Яков!

— Это не в моей власти, — ответил дух. — Утешение дается не таким людям, как ты, и исходит от вестников иной страны, Эбензар Скрудж! Я же не могу сказать и того, что хотел бы сказать. Мне позволено очень немногое. Я не могу отдыхать, медлить, оставаться на одном и том же месте.

Заметь, что во время моей земной жизни я даже мысленно не переступал границы нашей меняльной норы, оставаясь безучастным ко всему, что было вне ее. Теперь же передо мной лежит утомительный путь.

Всякий раз, как Скрудж задумывался, он имел обыкновение закладывать руки в карманы брюк. Обдумывая то, что сказал дух, он сделал это и теперь, но не встал с колен и не поднял глаз.

— Ты, должно быть, не очень торопился, — заметил Скрудж тоном делового человека, но покорно и почтительно.

— Да, — сказал дух.

— Ты умер семь лет тому назад, — задумчиво сказал Скрудж. — И все время странствуешь?

— Да, — сказал дух, — странствую, не зная отдыха и покоя, в вечных терзаниях совести.

— Но быстро ли совершаешь ты свои перелеты? — спросил Скрудж.

— На крыльях ветра, — ответил дух.

— В семь лет ты мог облететь бездны пространства, — сказал Скрудж.

Услышав это, дух снова испустил вопль и так страшно зазвенел цепью в мертвом молчании ночи, что полицейский имел бы полное право обвинить его в нарушении тишины и обществен-

ного спокойствия.

— О, пленник, закованный в двойные цепи, — воскликнул призрак, — и ты не знал, что потребны целые годы непрестанного труда существ, одаренных бессмертной душой для того, чтобы на земле восторжествовало добро. Ты не знал, что для христианской души на ее тесной земной стезе жизнь слишком коротка, чтобы сделать все добро, которое возможно? Не знал, что никакое раскаяние, как бы продолжительно оно ни было, не может вознаградить за прошедшее, не может загладить вины того, кто при жизни упустил столько благоприятных случаев, чтобы творить благо? Однако я был таким, именно таким.

— Но ты всегда был отличным дельцом, — сказал Скрудж, начиная применять слова духа к самому себе.

— Дельцом! — воскликнул дух, снова ломая руки. — Счастье человеческое должно было быть моей деятельностью, любовь к ближним, милосердие, кротость и доброжелательство — на это, только на это должна была бы быть направлена она. Дела должны были бы быть только каплей в необъятном океане моих обязанностей.

И он вытянул цепь во всю длину распростертых рук, точно она была причиной его теперь уже

бесполезной скорби, и снова тяжко уронил ее.

— Теперь, на исходе года, — продолжал он, — мои мучения стали еще горше. О, зачем я ходил в толпе подобных мне с опущенными глазами и не обратил их к благословенной звезде, приведшей волхвов к вертепу нищих! Разве не было вертепов нищих, к которым ее свет мог привести и меня!

Пораженный Скрудж, слушая это, задрожал всем телом.

— Слушай, слушай меня, — вскричал дух, — срок мой краток.

— Я слушаю, — сказал Скрудж, — но прошу тебя, Яков, не будь так жесток ко мне и говори проще.

— Как случилось, что я являюсь перед тобой в таком образе, я не знаю. Я ничего не могу сказать тебе об этом. Много, много дней я пребывал невидимым возле тебя.

Эта новость была не весьма приятна Скруджу… Он отер пот со лба.

— Наказание мое было еще тяжелее от этого, — продолжал дух. — Сегодня ночью я здесь затем, чтобы предупредить тебя, что ты, Эбензар, имеешь еще возможность при моей помощи избежать моей участи.

— Благодарю тебя. Ты всегда был моим лучшим другом.

— К тебе явятся три духа, — сказал призрак.

Лицо Скруджа вытянулось почти так же, как у Духа.

— Это и есть та возможность, о которой ты говоришь, Яков? — спросил Скрудж прерывающимся голосом.

— Да.

— По-моему, — сказал Скрудж, — лучше, если бы не было совсем этой возможности!

— Без посещения духов ты не можешь избежать того пути, по которому шел я. Жди первого духа завтра, как только ударит колокол.

— Не могут ли они прийти все сразу? — попробовал было вывернуться Скрудж.

— Второго духа ожидай в следующую ночь в этот же самый час. В третью ночь тебя посетит третий дух, когда замолкнет колокол, отбивающий полночь. Не смотри так на меня и запомни наше свидание. Ради твоего собственного спасения ты более не увидишь меня.

Произнеся эти слова, дух снова взял со стола платок и повязал его вокруг головы. По стуку зубов Скрудж понял, что челюсти его снова сомкнулись. Он решился поднять глаза и увидел, что неземной гость стоит перед ним лицом к лицу: цепь обвивала его стан и руки.

Призрак стал медленно пятиться назад, к окну, которое при каждом его шаге понемногу растворялось, а когда призрак достиг окна, оно широко распахнулось. Призрак сделал знак, чтобы Скрудж приблизился, — и Скрудж повиновался.

Когда между ними осталось не более двух шагов, дух Марли поднял руку, запретив ему подходить ближе. Побуждаемый скорее страхом и удивлением, чем послушанием, Скрудж остановился, и в ту же минуту, как только призрак поднял руку, в воздухе пронесся смутный шум — бессвязный ропот, плач, стоны раскаяния, невыразимо скорбный вопль. Послушав их мгновение, призрак присоединил свой голос к этому похоронному пению и стал постепенно растворяться в холодном мраке ночи.

Скрудж последовал за ним к окну: так непобедимо было любопытство. И выглянул из окна.

Все воздушное пространство наполнилось призраками, тревожно метавшимися во все стороны и стенящими. На каждом призраке была такая же цепь, как и на духе Марли. Ни одного не было без цепи, а некоторые, — быть может, преступные члены правительства, — были скованы вместе. Многих из них Скрудж знал при жизни. Например, он отлично знал старого духа в белом

жилете, тащившего за собой чудовищный железный ящик, привязанный к щиколке. Призрак жалобно кричал, не будучи в состоянии помочь несчастной женщине с младенцем, сидевшим внизу, на пороге двери. Было ясно, что самые ужасные муки призраков заключались в том, что они не были в силах сделать то добро, которое хотели бы сделать.

Туман ли окутал призраки или они растаяли в тумане, Скрудж не мог бы сказать уверенно. Но вот голоса их смолкли, все сразу, и ночь опять стала такою же, какой была при возвращении Скруджа домой.

Скрудж запер окно и осмотрел дверь, через которую вошел дух. Она была заперта на двойной замок, повешенный им же самим, задвижка осталась нетронутой. Он попытался было сказать «вздор», но остановился на первом же слоге, и, от волнений ли, которые он испытал, от усталости ли, оттого ли, что заглянул в неведомый мир или же вследствие разговора с духом, позднего часа, потребности в отдыхе, но он тотчас же подошел к кровати и мгновенно, даже не раздеваясь, заснул.

Строфа II
Первый дух

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из алькова, он едва мог отличить прозрачное пятно окна от темных окон своей комнаты. Он зорко всматривался в темноту своими острыми, как у хорька, глазами, и слушал, как колокола на соседней церкви отбивали часы.

К его великому изумлению, тяжелый колокол ударил шесть раз, потом семь, восемь и так до двенадцати; затем все смолкло. Двенадцать! А когда он ложился, был ведь третий час. Очевидно, часы шли неправильно. Должно быть, ледяная сосулька попала в механизм. Двенадцать! Он дотронулся до пружины своих часов с репетицией, чтобы проверить те нелепые часы. Маленький быстрый пульс его часов пробил двенадцать и остановился.

— Как! Этого не может быть! — сказал Скрудж, — не может быть, чтобы я проспал весь день, да еще и порядочную часть следующей ночи! Нельзя же допустить, чтобы что-нибудь произошло с солнцем и чтобы сейчас был полдень!

С этой тревожной мыслью он слез с кровати и ощупью добрался до окна. Чтобы увидеть что-нибудь, он был принужден рукавом своего халата протереть обмерзшее стекло. Но и тут он увидел не много! Он убедился только в том, что было очень тихо, туманно и чрезвычайно холодно. На улицах не было обычной суеты, бегущих пешеходов, что всегда бывало, когда день побеждал ночь и овладевал миром.

Скрудж снова лег в постель, предаваясь размышлениям о случившемся, но не мог прийти ни к какому определенному решению. Чем более он думал, тем более запутывался, и чем более старался не думать, тем более думал.

Дух Марли окончательно сбил его с толку. Как только, после зрелого размышления, он решал, что все это был сон, его мысль, подобно отпущенной упругой пружине, отлетала назад к первому положению, и снова предстояло решить: был ли это сон, или нет?

В таком состоянии Скрудж лежал до тех пор, пока колокола не пробили еще три четверти и он вдруг не вспомнил, что, согласно предсказанию Марли, первый дух должен явиться, когда колокол пробьет час. Он решил не спать и дождаться часа. Такое решение было, конечно, самое благо-

разумное, так как заснуть для него было теперь так же невозможно, как подняться на небо.

Время шло так медленно, что Скрудж подумал, что, задремав, он пропустил бой часов. Наконец, до его насторожившегося слуха донеслось:

— Динь-дон!

— Четверть, — сказал Скрудж, начиная считать.

— Динь-дон!

— Половина, — сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Три четверти, — сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Вот и час, — сказал Скрудж, — и ничего нет.

Он произнес эти слова прежде, чем колокол пробил час, — пробил как-то глухо, пусто и заунывно. В ту же минуту комната озарилась светом, и точно чья-то рука раздвинула занавески его постели в разные стороны, и именно те занавески, к которым было обращено его лицо, а не занавески в ногах или сзади. Как только они распахнулись, Скрудж приподнялся немного и в таком положении встретился с неземным гостем, который, открывая их, находился так близко к нему, как я в эту минуту мысленно нахожусь возле вас, читатель.

Это было странное существо, похожее на ребенка и вместе с тем на старика, ибо было видимо сквозь какую-то сверхъестественную среду, удалявшую и уменьшавшую его. Его волосы падали на плечи, были седы, как у старца, но на нежном лице его не было ни единой морщины. Руки его были очень длинны, мускулисты, и в них чувствовалась гигантская сила. Ноги и ступни имели изящную форму и были голы, как руки. Он был облечен в тунику ослепительной белизны; а его стан был опоясан перевязью, сиявшей дивным блеском. В его руке была ветвь свеже-зеленого остролистника, — эмблема зимы, — одежда же была украшена летними цветами. Но всего удивительнее было то, что от венца на его голове лились потоки света, ярко озарявшие все вокруг, и, очевидно, для этого-то света предназначался большой колпак-гасильник, который дух держал под мышкой, чтобы употреблять его, когда хотел сделаться невидимым. Когда же Скрудж стал пристальнее присматриваться к призраку, то заметил еще более странные особенности его. Пояс призрака искрился и блестел то в одной части, то в другой, и то, что сейчас было ярко освещено, через мгновение становилось темным, и вся фигура призрака ежесекундно менялась:

то он имел одну руку, то одну ногу, то был с двадцатью ногами, то с двумя ногами без головы, то была голова, но без туловища: то та, то другая часть его бесследно исчезала в густом мраке. Но еще удивительнее было то, что порою вся фигура призрака становилась ясной и отчетливой.

— Вы тот дух, появление которого было мне предсказано? — спросил Скрудж.

— Да.

Голос у духа был мягкий, нежный и такой тихий, что, казалось, доносился издалека, хотя дух находился возле самого Скруджа.

— Кто вы? — спросил Скрудж.

— Я дух минувшего Рождества.

— Давно минувшего? — спросил Скрудж, рассматривая его.

— Нет, твоего последнего.

Может быть, Скрудж и сам не знал, почему у него явилось странное желание видеть духа в колпаке-гасильнике, но он все-таки попросил духа надеть колпак.

— Как! — воскликнул дух. — Ты уже так скоро пожелал своими бренными руками погасить тот свет, который я распространяю? Тебе мало, что ты один из тех рабов страстей, ради которых я принужден долгие годы носить этот колпак,

низко надвинув его на лоб?

Скрудж почтительно ответил, что вовсе не хотел его обидеть, что он никак не может понять, каким образом он мог служить причиной, заставившей духа носить колпак. Затем он осмелился спросить, что именно привело его сюда?

— Твое благополучие, — сказал дух. Скрудж поблагодарил, но не мог удержаться от мысли, что спокойно проведенная ночь более способствовала бы этому благополучию. Но Дух понял его мысль, ибо тотчас же сказал:

— И твое спасение.

Сказав это, он протянул свою сильную руку и ласково коснулся Скруджа.

— Встань и следуй за мною.

Скрудж чувствовал, что было бы бесполезно сказать что-нибудь в свое оправдание, что дурная погода и поздний час не годятся для прогулок, что в постели тепло, а термометр стоит ниже нуля, что он слишком легко одет, — в туфлях, шлафроке и ночном колпаке, — и что он нездоров. Хотя прикосновение духа было нежно, как прикосновение руки женщины, оно, однако, не допускало сопротивления. И Скрудж встал, но, увидев, что дух направился к окну, схватил его за одежду.

— Я ведь смертный, — сказал он умоляющим

голосом, — и могу упасть.

— Позволь только моей руке прикоснуться к тебе, — сказал дух, кладя свою руку на сердце Скруджа, — и ты будешь вне всякой опасности.

Произнеся эти слова, дух повел Скруджа сквозь стену, и они очутились за городом на дороге, по обеим сторонам которой тянулись поля. Город исчез за ними совершений бесследно, а вместе с ним исчезли и туман и мрак. Был ясный, холодный зимний день, и земля была одета снежным покровом.

— О боже! — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и осматриваясь кругом. — Здесь, в этом месте, я родился. Здесь я рос.

Дух кротко посмотрел на него. Нежное прикосновение его, тихое и мимолетное, тронуло старое сердце. Скрудж ощутил тысячу запахов в воздухе, из которых каждый был связан с тысячью мыслей, радостей, забот и надежд, давно, давно забытых.

— Твои губы дрожат, — сказал дух. — Что такое на твоей щеке?

Запинающимся голосом Скрудж проговорил, что это прыщик, и просил духа вести его туда, куда он захочет.

— Припоминаешь ли ты эту дорогу? — спро-

сил дух.

— О, да, — с жаром произнес Скрудж. — Я прошел бы по ней с завязанными глазами.

— Странно. Прошло так много лет, а ты еще не забыл ее, — заметил дух. — Идем.

Они пошли. Скрудж узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. Вдали показалось маленькое местечко с церковью, мостом и извивами реки. Они увидели несколько косматых пони, бегущих рысью по направлению к ним; на пони сидели мальчики, которые перекликались с другими мальчиками, сидевшими рядом с фермерами в больших одноколках и тележках. Все были веселы и, перекликаясь, наполняли звонкими голосами и смехом широкий простор полей.

— Это только тени прошлого, — сказал дух. — Они не видят и не слышат нас.

Когда веселые путешественники приблизились, Скрудж стал узнавать и каждого из них называть по имени. Почему он был так несказанно рад, видя их, почему блестели его холодные глаза, а сердце так сильно билось? Почему сердце наполнилось умилением, когда он слышал, как они поздравляли друг друга с праздником, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь в разные стороны? Что за дело было Скруджу до веселого

Рождества? Прочь эти веселые праздники! Какую пользу они принесли ему?

— Школа еще не совсем опустела, — сказал дух. — Там есть заброшенный, одинокий ребенок.

Скрудж сказал, что знает это, — и зарыдал.

Они свернули с большой дороги на хорошо памятную ему тропу и скоро приблизились к дому из потемневших красных кирпичей с небольшим куполом и колоколом в нем, с флюгером на крыше. Это был большой, но уже начавший приходить в упадок дом. Стены обширных заброшенных служб были сыры и покрыты мхом, окна разбиты и ворота полуразрушены временем. Куры кудахтали и расхаживали в конюшнях, каретные сараи и навесы зарастали травой. Внутри дома также не было прежней роскоши; войдя в мрачные сени сквозь открытые двери, они увидели много комнат, пустых и холодных, с обломками мебели. Затхлый запах сырости и земли носился в воздухе, все говорило о том, что обитатели дома часто недосыпают, встают еще при свечах и живут впроголодь.

Дух и Скрудж прошли через сени к дверям во вторую половину дома. Она открылась, и их взорам представилась длинная печальная комната,

которая, от стоявших в ней простых еловых парт, казалась еще пустыннее. На одной из парт, около слабого огонька, сидел одинокий мальчик и читал. Скрудж опустился на скамью и, узнав в этом бедном и забытом ребенке самого себя, заплакал.

Таинственное эхо в доме, писк и возня мыши за деревянной обшивкой стен, капанье капель из оттаявшего желоба, вздохи безлистого тополя, ленивый скрип качающейся двери в пустом амбаре и потрескивание в камине — все это отзывалось в сердце Скруджа и вызывало слезы.

Дух, прикоснувшись к нему, показал на его двойника, — маленького мальчика, погруженного в чтение. Внезапно за окном появился кто-то в одежде чужестранца, явственно, точно живой, с топором, засунутым за пояс, ведущий осла, нагруженного дровами.

— Это Али-баба! — воскликнул Скрудж в восторге. — Добрый, старый, честный Али-баба, я узнаю его. Да! Да! Как-то на Рождество, когда вот этот забытый мальчик оставался здесь один, он, Али-баба, явился перед ним впервые точно в таком же виде, как теперь. Бедный мальчик! А вот и Валентин, — сказал Скрудж, — и дикий брат его Орзон, вот они! А как зовут того, которого, сонного, в одном белье, перенесли к воротам

Дамаска? Разве ты не видал его? А слуга султана, которого духи перевернули вниз головой, — вон и он стоит на голове! Поделом ему! Не женись на принцессе!

Как удивились бы коллеги Скруджа, услышав его, увидев его оживленное лицо, всю серьезность своего характера расточающего на такие пустые предметы и говорящего совсем необычным голосом, голосом, похожим и на смех и на крик.

— А вот и попугай! — воскликнул Скрудж. — Зеленое туловище, желтый хвост и на макушке хохол, похожий на лист салата! Бедный Робинзон Крузо, как он назвал Робинзона, когда тот возвратился домой, после плавания вокруг острова. «Бедный Робинзон Крузо. — Где был ты, Робинзон Крузо?». Робинзон думал, что слышит это во сне, но, как известно, кричал попугай. А вот и Пятница, спасая свою жизнь, бежит к маленькой бухте! Голла! Гоп! Голла!

Затем, с быстротой, совсем несвойственной его характеру, Скрудж перебил самого себя, с грустью о самом себе воскликнул: «Бедный мальчик!» — и снова заплакал.

— Мне хочется, — пробормотал Скрудж, отирая обшлагом глаза, закладывая руки в карманы и осматриваясь, — мне хочется… но нет, уже слиш-

ком поздно…

— В чем дело? — спросил дух.

— Так, — отвечал Скрудж. — Ничего. Прошлым вечером к моей двери приходил какой-то мальчик и пел, так вот мне хотелось дать ему что-нибудь… Вот и все…

Дух задумчиво улыбнулся, махнул рукой и сказал: «Идем, взглянем на другой праздник!»

При этих словах двойник Скруджа увеличился, а комната сделалась темнее и грязнее; обшивка ее потрескалась, окна покосились, с потолка посыпалась штукатурка, обнаруживая голые дранки. Но как это случилось, Скрудж знал не лучше нас с вами. Однако он знал, что это так и должно быть, — чтобы он снова остался один, а другие мальчики ушли домой с радостно встречать праздник.

Он ужи не читал, но уныло ходил взад и вперед. Посмотрев на духа, Скрудж печально покачал головой и беспокойно взглянул на дверь.

Дверь растворилась, и маленькая девочка, гораздо меньше мальчика, вбежала в комнату и, обвив его шею ручонками, осыпая его поцелуями, называла его милым, дорогим братом.

— Я пришла за тобою, милый брат, — сказала она. — Мы вместе поедем домой, — говорила

она, хлопая маленькими ручками и приседая от смеха. — Я приехала, чтобы взять тебя домой, домой, мой!

— Домой, моя маленькая Фанни? — воскликнул мальчик.

— Да, — сказала в восторге девочка. — Домой навсегда, навсегда! Папа стал гораздо добрее, чем прежде, и у нас дома, как в раю. Однажды вечером, когда я должна была идти спать, он говорил со мною так ласково, что я осмелилась попросить его послать меня за тобой в повозке. Он ответил: хорошо — и послал меня за тобою в повозке. Ты теперь будешь настоящий мужчина, — сказала девочка, раскрывая глаза, — и никогда не вернешься сюда. Мы будем веселиться вместе на праздниках.

— Ты говоришь совсем как взрослая, моя маленькая Фанни, — воскликнул мальчик.

Она захлопала в ладоши, засмеялась, стараясь достать до его головы, приподнялась на цыпочки, обняла его и снова засмеялась. Затем, с детской настойчивостью, она стала тащить его к двери, и он, не сопротивляясь, последовал за нею.

Какой-то страшный голос послышался в сенях: «Снесите вниз сундук Скруджа». Появился сам школьный учитель, который, посмотрев

сухо и снисходительно на Скруджа, привел его в большое смущение пожатием руки. Затем он повел его вместе с сестрой в холодную комнату, напоминающую старый колодезь, где на стене висели ландкарты, а земной и небесный глобусы, стоявшие на окнах и обледеневшие, блестели, точно натертые воском. Поставив на стол графин очень легкого вина, положив кусок очень тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться. А худощавого слугу он послал предложить стакан этого вина извозчику, который поблагодарил и сказал, что если это вино то самое, которое он пил в прошлый раз, то он отказывается от него. Между тем чемодан Скруджа был привязан к крыше экипажа, и дети, радостно простясь с учителем, сели и поехали; быстро вертевшиеся колеса сбивали иней и снег с темной зелени деревьев.

— Она всегда была маленьким, хрупким существом, которое могло убить дуновение ветра, — сказал дух. — Но у нее было большое сердце!

— Да, это правда, — воскликнул Скрудж. — Ты прав. Я не отрицаю этого, дух. Нет, боже меня сохрани!

— Она была замужем, — сказал дух, — и, кажется, у нее были дети.

— Один ребенок, — сказал Скрудж.

— Да, твой племянник, — сказал дух. Скрудж смутился; и кратко ответил: «Да».

Прошло не более мгновения с тех пор, как они оставили школу, но они уже очутились в самых бойких улицах города, где, как призраки, двигались прохожие, ехали тележки и кареты, перебивая путь друг у друга, — в самой сутолоке большого города. По убранству лавок было видно, что наступило Рождество. Был вечер, и улицы были ярко освещены. Дух остановился у двери какого-то магазина и спросил Скруджа, знает ли он это место?

— Еще бы, — сказал Скрудж. — Разве не здесь я учился?

Они вошли. При виде старого господина в парике, сидящего за высоким бюро, который, будь он выше на два дюйма, стукался бы головой о потолок, Скрудж, в сильном волнении, закричал:

— О, да это сам старик Феззивиг! Сам Феззивиг воскрес из мертвых!

Старик Феззивиг положил перо и посмотрел на часы, — часы показывали семь. Он потер руки, оправил широкий жилет, засмеялся, трясясь всем телом, и крикнул плавным, звучным, сдобным, но приятным и веселым голосом:

— Эй, вы, там! Эбензар! Дик!

Двойник Скруджа, молодой человек, живо явился, в сопровождении товарища, на зов.

— Так и есть, — Дик Вилкинс, — сказал Скрудж духу. — Это он. Дик очень любил меня. Дик, голубчик! Боже мой!

— Эй, вы, молодцы! — сказал Феззивиг. — Шабаш! На сегодня довольно! Ведь сегодня сочельник, Дик! Рождество завтра, Эбензар! Запирай ставни! — вскричал старик Феззивиг, громко хлопнув в ладоши. — Мигом! Живо!

Трудно себе представить ту стремительность, с какою друзья бросились на улицу за ставнями. Вы не успели бы сказать: раз, два, три, как уже ставни были на своих местах, вы не дошли бы еще до шести, как уж были заложены болты, вы не досчитали бы до двенадцати, как молодцы уже вернулись в контору, дыша, точно скаковые лошади.

— Ну! — закричал Феззивиг, с удивительной ловкостью соскакивая со стула возле высокой конторки. — Убирайте все прочь, чтобы было как можно больше простора. Гоп! Гоп, Дик! Живей, Эбензар!

Все долой! Все было сделано в одно мгновение. Все, что возможно, было мгновенно убрано и исчезло с глаз долой. Пол был подметен и полит

водой, лампы оправлены, в камин подброшен уголь, и магазин стал уютен, тепел и сух, точно бальный зал.

Пришел скрипач с нотами, устроился за конторкой и загудел, как полсотня расстроенных желудков. Пришла мистрис Феззивиг, сплошная добродушная улыбка. Пришли три девицы Феззивиг, цветущие и хорошенькие. Пришли шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые люди и женщины, служившие у Феззивига. Пришла служанка со своим двоюродным братом, булочником. Пришла кухарка с молочником, закадычным приятелем ее брата. Пришел мальчишка, живущий в доме через улицу, которого, как думали, хозяин держал впроголодь. Мальчишка старался спрятаться за девочку из соседнего дома, уши которой доказывали, что хозяйка любила драть их. Все вошли друг за другом — одни застенчиво, другие смело, одни — ловко, другие неуклюже; одни толкая, другие таща друг друга; но все как-никак все-таки вошли. И все разом, все двадцать пар, пустились танцевать, выступая вперед, отступая назад, проделывая, пара за парой, самые разнообразные фигуры. Наконец, старик Феззивиг захлопал в ладоши и, желая остановить танец, воскликнул:

«Ловко! Молодцы!» Скрипач погрузил разгоряченное лицо в кружку портера, предназначенную для него. Потом, пренебрегая отдыхом, он снова появился на своем месте и тотчас же начал играть, хотя желающих танцевать еще не было, — с таким видом, точно прежнего истомленного скрипача отнесли домой на ставне, а это был новый, решившийся или превзойти того, или погибнуть.

Потом опять были танцы, дальше игра в фанты и опять танцы. Напоследок подали пирожное, глинтвейн, большой кусок холодного ростбифа, кусок холодной вареной говядины, пирожки и пиво, пиво… Но главный эффект вечера был после жаркого и вареной говядины, когда скрипач (хитрая бестия, — он знал дело гораздо лучше нас с вами!) ударил «Сэр Роджер де-Коверли». Тут старик Феззивиг с мистрис Феззивиг выступили вперед, приготовляясь начать танец, и притом первой парой; но ведь это не шутка! Ведь приходилось танцевать с двадцатью тремя-четырьмя парами, — и с народом, который вовсе не намеревался шутить, с народом, который хотел пуститься в пляс вовсю, а не прохаживаться.

Но если бы их было вдвое более, вчетверо даже, все-таки старший Феззивиг и мистрис Феззи-

виг были бы на высоте своей задачи. Мистрисс Феззивиг была достойной партнершей своего мужа во всех отношениях. Если же эта похвала недостаточна, скажите мне более высокую, и я охотно употреблю ее. Положительно какой-то свет брызгал от икр Феззи-вига! Они сверкали во всякой фигуре танца. В какой-нибудь один момент вы ни за что не угадали бы, что будет в следующий! И когда старик Феззивиг и мистрис Феззивиг проделали все па: «вперед, назад, обе руки вашему партнеру, поклон, реверанс, штопор, продевание нитки в иголку, и назад, на свое место», — Феззивиг подпрыгнул так, что, казалось, его ноги мигнули, и стал как вкопанный.

Когда часы пробили одиннадцать, семейный бал кончился, мистер Феззивиг с супругой заняли места по обеим сторонам двери и, пожимая руки выходившим гостям, желали им весело провести праздник. Когда все, кроме двух учеников, ушли, хозяева точно так же простились и с ними. Веселые голоса замерли, и юноши разошлись по своим кроватям в задней комнате.

Все это время Скрудж вел себя как человек, который не в своем рассудке. Его душа была погружена в созерцание своего двойника. Он смотрел, вспоминал, радовался всему и испыты-

вал странное возбуждение. И только теперь, когда ясные лица его двойника и Дика отвернулись от него, он вспомнил про духа и почувствовал, что дух смотрит прямо на него и что на голове его горит яркий свет.

— Как мало надо для того, чтобы заслужить благодарность этих глупцов, — сказал дух.

— Мало! — повторил Скрудж.

Дух знаком заставил Скруджа прислушаться к разговору двух учеников, которые от всей души расточали похвалы и благодарности Феззивигу. И, когда Скрудж послушал, дух сказал:

— Ну, не так ли? Истратил он несколько фунтов, ну, быть может, три, четыре фунта… Неужели этого достаточно, чтобы заслужить такие похвалы?

— Не в этом дело, — сказал Скрудж, задетый за живое его словами и невольно говоря своим прежним юношеским тоном. — Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными, нашу службу — радостным или несчастным бременем, наслаждением или тяжелым трудом. Допустим, что его власть заключается в каком-либо слове или взгляде — вещах столь ничтожных, незначительных и неуловимых, — но так что же? Счастье, которое он дает, так велико, что равняется стоимости целого со-

стояния.

Он почувствовал взгляд духа и остановился.

— Что такое? — спросил дух.

— Ничего особенного, — сказал Скрудж.

— Как будто что-то случилось с вами, — настаивал дух.

— Нет, — сказал Скрудж. — Нет, мне бы хотелось сказать теперь два-три слова моему писцу. Вот и все.

Когда он говорил это, его двойник загасил лампы, и Скрудж и дух опять очутились под открытым небом.

— У меня остается мало времени, — заметил дух. — Скорее!

Слова эти не относились ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого мог видеть дух, но действие их тотчас же сказалось, — Скрудж снова увидел своего двойника. Теперь он был старше, в самом расцвете лет. Черты его лица не были еще так жестки и грубы, как в последние годы, но лицо уже носило признаки забот и скупости. Глаза его бегали беспокойно и жадно, что говорило о глубоко вкоренившейся страсти, которая пойдет далеко в своем развитии.

Он был не один, он сидел рядом с красивой молодой девушкой в трауре. На глазах ее стояли

слезы, блестевшие в сиянии, исходившем от духа минувшего Рождества.

— Пустяки, — сказала она тихо и нежно. — Пустяки, — для вас-то. Другой кумир вытеснил меня из вашего сердца. И если в будущем он даст вам утешение и радость, что постаралась бы сделать и я, мне нет причин роптать.

— Какой же это кумир? — спросил Скрудж.

— Деньги.

— В ваших словах беспристрастный приговор света! Такова людская правда! — сказал он. — Ничто не порицается так сурово, как бедность, и вместе с тем ничто так беспощадно не осуждается, как стремление к наживе.

— Вы уж слишком боитесь света, — ответила она кротко. — Все ваши другие надежды потонули в желании избежать низких упреков этого света. Я видела, как все ваши благородные стремления отпадали одно за другим, пока страсть к наживе не поглотила вас окончательно. Разве это не правда?

— Что же из того? — возразил он. — Что же из того, что я сделался гораздо умнее? Разве я переменился по отношению к вам?

Она покачала головой.

— Переменился?

— Союз наш был заключен давно. В те дни мы оба были молоды, всем довольны и надеялись совместным трудом улучшить со временем наше материальное положение. Но вы переменились. В то время вы были другим.

— Я был тогда мальчишкой, — сказал Скрудж с нетерпением.

— Ваше собственное чувство подсказывает вам, что вы были не таким, как теперь, — ответила она. — Я же осталась такою же, как прежде. То, что сулило счастье, когда мы любили друг друга, теперь, когда мы чужды друг другу, предвещает горе. Как часто, с какою болью в сердце я думала об этом! Скажу одно: я уже все обдумала и решила освободить вас от вашего слова.

— Разве я просил этого?

— Словами? Нет. Никогда.

— Тогда чем же?

— Тем, что вы переменились, начиная с характера, ума и всего образа жизни, тем, что теперь другое стало для вас главной целью. Моя любовь уже ничто в ваших глазах, точно между нами ничего и не было, — сказала девушка, смотря на него кротко и твердо. — Ну, скажите мне, разве вы стали бы теперь искать меня и стараться приобрести мою привязанность? Конечно нет.

Казалось, что, даже помимо своей воли, Скрудж соглашался с этим. Однако, сделав над собою усилие, он сказал:

— Вы сами не убеждены в том, что говорите. Я была бы рада думать иначе, — сказала она, — но не могу, — видит Бог. Когда я узнала правду, я поняла, как она сильна, непоколебима. Сделавшись сегодня или завтра свободным, разве вы женитесь на мне, бедной девушке, без всякого приданого? Разве могу я рассчитывать на это? Вы, все оценивавший при наших откровенных разговорах с точки зрения барыша! Допустим, вы бы женились, изменив своему главному принципу; но разве за этим поступком не последовало бы раскаяние и сожаление? Непременно. Итак, вы свободны, я освобождаю вас и делаю это охотно, из-за любви к тому Скруджу, каким вы были раньше.

Он хотел было сказать что-то, но она, отвернувшись от него, продолжала:

— Может быть, воспоминание о прошлом заставляет меня надеяться, что вы будете сожалеть об этом. Но все же спустя короткое время вы с радостью отбросите всякое воспоминание обо мне, как пустой сон, от которого вы, к счастью, очнулись. Впрочем, желаю вам счастья и на том

жизненном пути, по которому вы пойдете.

И они расстались.

— Дух, — сказал Скрудж, — не показывай мне больше ничего. Проводи меня домой. Неужели тебе доставляют наслаждение мои муки?

— Еще одна тень, — воскликнул дух.

— Довольно! — вскричал Скрудж. — Не надо! Не хочу ее видеть! Не надо!

Но дух остался неумолимым и, стиснув обе его руки, заставил смотреть.

Они увидели иное место и иную обстановку: комната не очень большая, но красивая и уютная; около камина сидит молодая девушка, очень похожая на ту, о которой только что шла речь. Скрудж даже не поверил, что это была другая, пока не увидел сидевшей напротив молодой девушки ее матери — пожилой женщины, в которую превратилась любимая им когда-то девушка. В соседней комнате стоял невообразимый гвалт: там было так много детей, что Скрудж, в волнении, не мог даже сосчитать их; и вели себя дети совсем не так, как те сорок детей в известной поэме, которые держали себя, как один ребенок, — нет, наоборот, каждый из них старался вести себя, как сорок детей. Потому-то там и стоял невообразимый гам; но, казалось, он никого

не беспокоил. Напротив, мать и дочь смеялись и радовались этому от души. Последняя скоро приняла участие в игре, и маленькие разбойники начали немилосердно тормошить ее. О, как бы я желал быть на месте одного из них! Но я никогда бы не был так груб! Никогда! За сокровища целого мира я не решился бы помять этих заплетенных волос! Даже ради спасения своей жизни я не стащил бы этот маленький, бесценный башмачок! Никогда я не осмелился бы обнять этой талии, как то делало в игре дерзкое молодое племя: я бы ожидал, что в наказание за это моя рука скрючится и никогда не выпрямится снова, и однако, признаюсь, я дорого бы дал, чтобы прикоснуться к ее губам, спросить ее о чем-нибудь — и только для того, чтобы она раскрыла их, чтобы смотреть на ее опущенные ресницы, распустить ее волосы, самая маленькая прядь которых была бы сокровищем для меня. Словом… я желал бы иметь право хотя бы на самую ничтожную детскую вольность, но в то же время хотел бы быть и мужчиной, вполне знающим ей цену.

Но вот послышался стук в дверь, — и тотчас же вслед за этим дети так ринулись к двери, что девушка со смеющимся лицом и помятым платьем, попав в самую средину раскрасневшейся

буйной толпы, была подхвачена ими и вместе со всей ватагой, устремилась приветствовать отца, возвратившегося домой в сопровождении человека, который нес рождественские подарки и игрушки.

Толпа детей тотчас же бросилась штурмом на беззащитного носильщика. Дети взлезали, на него со стульев, заменявших им приставные лестницы, залезали к нему в карманы, тащили свертки в оберточной коричневой бумаге, крепко вцеплялись в его галстук, колотили его по спине и брыкались в приливе неудержимой радости. И с какими криками восторга развертывался каждый сверток! Какой ужас охватил всех, когда один из малюток был захвачен на месте преступления, в тот момент, когда он положил кукольную сковородку в рот, и какое отчаяние вызывало подозрение, что он же проглотил игрушечного индюка, приклеенного к деревянному блюду, и как спокойно вздохнули все, когда оказалось, что все это — ложная тревога. Шум смолк, и дети постепенно стали удаляться наверх, где и улеглись спать.

Скрудж стал еще внимательнее наблюдать.

Он видел, как хозяин, на которого нежно облокотилась дочь, сел рядом с ней и женою у

камелька. Взор Скруджа омрачился, когда он представил, что это милое, прелестное существо могло называть его отцом, согревать зиму его жизни.

— Бэлла, — сказал мужчина, с улыбкой обращаясь к жене. — Сегодня я видел твоего старого друга.

— Кого?

— Угадай.

— Как же я могу! Ах, знаю, — прибавила она, отвечая на его смех. — Мистера Скруджа?

— Да. Я проходил мимо окна его конторы, и, так как оно не было заперто, а внутри горела свеча, я видел его. Его компаньон, я слышал, умер, и теперь он сидит один, совсем один в целом мире.

— Дух, — сказал Скрудж с дрожью в голосе, — уведи меня отсюда!

— Я ведь сказал тебе, что это тени минувшего, — сказал дух.

— Уведи меня! — воскликнул Скрудж. — Я не перенесу этого!

Он повернулся и встретил взгляд духа, в котором странным образом сочетались отрывки всех лиц, только что им виденных.

— Оставь меня, уведи меня, не смущай меня более!

Не высказывая ни малейшего сопротивления всем попыткам Скруджа, дух, однако, остался непоколебим, и только свет, исходивший от него, разгорался все ярче и ярче.

И смутно сознавая, что сила духа находится в зависимости от этого света, Скрудж внезапно схватил гасильник и с силой надавил его на голову духа.

Дух съежился под гасильником, закрывшим его всего. Несмотря на то, что Скрудж надвигал гасильник со всей присущей ему силой, он все-таки не мог погасить свет, лившийся из-под него непрерывным потоком.

И вдруг он почувствовал себя в своей спальне сонным, разбитым. Сделав последнее усилие придавить гасильник, при котором совсем ослабела его рука, он, едва успев дойти до кровати, погрузился в глубокий сон.

Строфа III
Второй дух

Всхрапнув слишком громко, Скрудж внезапно очнулся и сел на кровати, чтобы собраться с мыслями. Он отлично знал, что колокол скоро пробьет час, и почувствовал, что пришел в себя

именно в то время, когда предстояла беседа со вторым духом, предсказанным Яковом Марли. Скруджу очень хотелось знать, какую из занавесок теперь отодвинет призрак. Но, ощутив от такого ожидания неприятный холод, он не утерпел и сам раздвинул их, снова улегся в постель и насторожился. В момент встречи с духом он приготовился окликнуть его и тем скрыть свой страх и волнение.

Люди ловкие, умеющие найтись в каких угодно обстоятельствах, говорят, хвастаясь своими способностями, что им решительно все равно, играть ли в орлянку или убить человека, хотя между обоими этими занятиями лежит целая пропасть. Я не настаиваю на том, что это вполне применимо к Скруджу, но вместе с тем и не стал бы разуверять вас в том, что Скрудж был настроен самым странным образом и, пожалуй, не особенно бы поразился, увидав вместо грудного младенца носорога.

Приготовясь ко всему, Скрудж, однако, никак не предполагал, что ничего не увидит, а потому, когда колокол пробил час, никто не явился, его охватила сильная дрожь. Прошло пять, десять минут, четверть часа, — ничего не случилось. Скрудж продолжал лежать на своей постели,

освещаемый потоком какого-то красноватого света, тревожившего его своей непонятностью гораздо более, чем появление двенадцати духов, — лежал до тех пор, пока часы не пробили час. Порой у него возникало опасение, — не происходит ли уж в этот момент редкий случай самосгорания, но и это мало утешало его, так как и в этом он не был твердо убежден.

Однако он, наконец, остановился на той самой простой мысли, которая нам с вами, читатель, пришла бы в голову раньше всего. А уж это так всегда бывает: человек в чужой беде гораздо находчивее и отлично знает, что надо делать.

Итак, говорю я, Скрудж, наконец, решил, что источник и разгадка этого таинственного света находится в соседней комнате, откуда, по-видимому, и исходил свет. Когда эта мысль окончательно овладела им, он тихо встал и в туфлях подошел в двери.

В ту минуту, когда Скрудж взялся за скобку, чей-то странный голос назвал его по имени и приказал ему войти.

Он повиновался.

В том, что это была его собственная комната, не могло быть ни малейшего сомнения, но с ней произошла изумительная перемена. Стены и

потолок были задрапированы живой зеленью, производя впечатление настоящей рощи; на каждой ветви ярко горели блестящие ягоды. Кудрявые листья остролиста, омелы, плюща отражали в себе свет, точно маленькие зеркала, рассеянные повсюду. В трубе камина взвивалось огромное свистящее пламя, какого эти прокопченные камни никогда не знали при Скрудже и Марли за много, много минувших зим. На полу, образуя трон, громоздились индюшки, гуси, дичь, свинина, крупные части туш, поросята, длинные гирлянды сосисек, пудинги, бочонки устриц, докрасна раскаленные каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие до приторности груши, крещенские сладкие пироги, кубки с горячим пуншем, наполнявшим комнату тусклым сладким паром. На троне свободно и непринужденно сидел приятный, веселый великан. Он держал в руке пылающий факел, похожий на рог изобилия и высоко поднял его, так чтобы свет падал на Скруджа, когда тот подошел к двери и заглянул в комнату.

— Войди! — произнес дух. — Познакомимся поближе.

Скрудж робко вошел и опустил голову перед духом. Он не был тем угрюмым и раздражитель-

ным Скруджем, каким бывал обыкновенно. И хотя глаза духа были ясны и добры, он не хотел встречаться с ними.

— Я дух нынешнего Рождества, — сказал призрак. — Приглядись ко мне.

Скрудж почтительно взглянул на него. Он был одет в простую длинную темно-зеленую мантию, опушенную белым мехом. Мантия висела на нем так свободно, что не вполне закрывала его широкую обнаженную грудь, словно пренебрегавшую каким бы то ни было покровом. Под широкими складками мантии ноги его были также голы. На голове был венок из остролиста, усеянный сверкающими ледяными сосульками. Его темные распущенные волосы были длинны. От его широко раскрытых, искрящихся глаз, щедрой руки, радостного лица и голоса, от его свободных, непринужденных движений веяло добродушием и веселостью. На его поясе висели старинные ножны, изъеденные ржавчиной и пустые.

— Ты никогда не видал подобного мне? — воскликнул дух.

— Никогда, — отвечал Скрудж.

— Разве ты никогда не входил в общение с младшими братьями моей семьи, рожденными в последние годы, и из которых я самый млад-

ший? — продолжал дух.

— Кажется, нет, — сказал Скрудж. — Много ли у тебя братьев, дух?

— Более тысячи восьмисот, — сказал дух.

— Вот так семья! — проворчал Скрудж. — Попробуй-ка ее прокормить!

Дух нынешнего Рождества встал.

— Дух, — сказал покорно Скрудж, — веди меня, куда хочешь. По воле духа я пространствовал всю прошлую ночь и признаюсь, полученный мною урок не пропал даром. Позволь же мне и в эту ночь воспользоваться твоими поучениями.

— Прикоснись к моей одежде.

Скрудж исполнил приказание духа, крепко ухватившись за его мантию.

Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индюшки, гуси, дичь, свинина, мясо, поросята, сосиски, устрицы, пудинг, плоды, пунш — все мгновенно исчезло. Скрылась и комната, огонь, поток красноватого света, исчезла ночь, и они очутились в рождественское утро на улицах города, где рабочие с резкими, но приятными звуками счищали с тротуаров и крыш домов снег, который, падая, вниз на улицу, рассыпался снежной пылью, приводя в восторг мальчишек.

Окна мрачных стен домов казались еще мрач-

нее от гладкой белой пелены снега на крышах домов и грязного снега на земле, который тяжелыми колесами карет и ломовых фур был изрыт, точно плугом, — глубокие борозды пересекались в разных направлениях по сто раз одна с другой, особенно на перекрестках улиц, где они так перепутались в желтой, густой, ледяной слякоти, что их невозможно было отграничить.

Небо было пасмурно, и даже самые короткие улицы задыхались от темной влажно-ледяной мглы, насквозь пропитанной сажей дымовых труб, частицы которой вместе с туманом спускались вниз. Казалось, все трубы Великобритании составили заговор и дымили вовсю.

Несмотря на то, что ни в погоде, ни в городе не было ничего веселого, в воздухе веяло чем-то радостным, чего не могли дать ни летний воздух, ни самый яркий блеск солнца.

Люди, счищавшие снег с крыш, были радостны и веселы; они перекликались друг с другом из-за перил, перебрасывались снежками — перестрелка, более невинная, чем шутки словесные — и одинаково добродушно смеялись, когда снежки попадали в цель и когда пролетали мимо.

Между тем как лавки с битой птицей были еще не вполне открыты, фруктовые уже сияли во

всем своем великолепии. Расставленные в них круглые пузатые корзины с каштанами походили на жилеты веселых пожилых джентльменов, которые, вследствие своей чрезмерной полноты, подвержены апоплексии и которые, развалившись у дверей, точно собираются выйти на улицу. Смуглый, красноватый испанский лук, напоминающий своей толщиной испанских монахов, с лукаво-игривой улыбкой посматривал с полок на проходивших девушек и с напускной скромностью на висящие вверху омелы. Груши и яблоки были сложены в цветистые пирамиды. Прихоти лавочников, кисти винограда были развешаны весьма затейливо, весьма соблазнительно для прохожих. Груды коричневых, обросших мхом лесных орехов своим благоуханием заставляли вспоминать былые прогулки в лесу, когда доставляло такое наслаждение утопать ногами в сухих листьях. Пухлые сушеные яблоки из Норфолька, смуглым цветом еще резче оттенявшие желтизну апельсинов и лимонов, были сочны и мясисты и, казалось, так и просились, чтобы их, в бумажных мешках, разнесли по домам и съели после обеда. Даже золотые и серебряные рыбы, выставленные в чашке среди этих отборных фруктов — тупые существа с холодной кровью, — кругообразно и

беззаботно плавая в своем маленьком мирке друг за другом и открывая рот при дыхании, казалось, знали, что творится нечто необычное.

А лавки колониальных товаров! Они еще заперты. Быть может, снята только одна-другая ставня. Но чего, чего не увидишь там, хотя бы мельком заглянув в окна!

Чашки весов с веселым звуком спускались на прилавок, бечевки быстро разматывались с катушки, жестянки с громом передвигались, точно по мановению фокусника, смешанный запах кофе и чаю так приятно щекотал обоняние. А какое множество чудесного изюма, какая белизна миндаля, сколько длинных и прямых палочек корицы, обсахаренных фруктов и других пряностей! Ведь от одного этого самый равнодушный зритель почувствовал бы истому и тошноту! Винные ягоды, сочны и мясисты, французский кислый чернослив скромно румянится в разукрашенных ящиках — все, все в своем праздничном убранстве приобретало особый вкус!

Но этого мало. Надо было видеть покупателей! В ожидании праздничных удовольствий, они так суетились и спешили, что натыкались друг на друга в дверях, (причем их ивовые корзины трещали самым ужасным образом), забывали по-

купки на прилавках, прибегали за ними обратно и проделывали сотни подобных оплошностей, не теряя, однако, прекрасного расположения духа.

Но скоро с колоколен раздался благовест, призывавший добрых людей в церкви и часовни, и толпа, разодетая в лучшее платье, с радостными лицами, двинулась по улицам. Тотчас же из многочисленных улиц, неведомых переулков появилось множество людей, несших в булочные свой обед. Вид этих бедняков, которые тоже собирались покутить, очень занимал духа, и он, остановясь у входа булочной и снимая крышки с блюд, когда приносившие обеды приближались к нему, окуривал ладаном своего факела их обеды. Это был удивительный факел: всякий раз, когда прохожие, натолкнувшись один на другого, начинали ссориться, достаточно было духу излить на них несколько капель воды из своего факела, чтобы тотчас же все снова становились добродушными и сознавались, что стыдно ссориться в день Рождества. И поистине они были правы.

Спустя некоторое время, колокола смолкли, булочники закрыли лавки. Над каждой печкой остались следы, в виде влажных талых пятен, глядя на которые было приятно думать об успешном приготовлении обедов. Тротуары дымились,

словно самые камни варились.

— Разве еда приобретает особый вкус от того, что ты брызгаешь на нее? — спросил Скрудж.

— Да. Вкус, присущий только мне.

— Всякий ли обед сегодня может приобрести такой вкус?

— Всякий, который дают радушно. Особенно же обеды бедных людей.

— Почему? — спросил Скрудж.

— Потому что бедняки нуждаются в обеде более, чем кто-либо другой.

— Дух, — сказал Скрудж, после минутного раздумья. — Меня удивляет, почему из всех существ бесчисленных миров, которые окружают нас, именно ты препятствуешь этим людям пользоваться иногда самыми невинными наслаждениями.

— Я? — воскликнул дух.

— Ты даже не допускаешь, чтобы они обедали каждое воскресение, а ведь только в этот день они, можно сказать, обедают по-человечески, — сказал Скрудж.

— Я? — воскликнул дух.

— Да ведь ты же стараешься, чтобы по воскресеньям эти места были закрыты, — сказал Скрудж.

— Я стараюсь? — воскликнул дух.

— Если я не прав, прости меня. По крайней мере, это делается от твоего имени или от имени твоей семьи, — сказал Скрудж.

— Много людей на земле, — возразил дух, — которые нашим именем совершают дела, исполненные страстей, гордости, недоброжелательства, зависти, ханжества и себялюбия. Но люди эти нам чужды. Помни это и обвиняй их, а не нас.

Скрудж обещал, и они, оставаясь, так же как и прежде, невидимыми, направились в предместья города. Дух обладал замечательным свойством, заключавшимся в том (Скрудж заметил это в булочной), что, несмотря на свой гигантский рост, мог легко приспособляться ко всякому месту и также удобно помещаться под низкой крышей, как и в высоком зале. Может быть, желание проявить это свойство, в чем добрый дух находил удовольствие, а может быть, его великодушие и сердечная доброта привели его к писцу Скруджа, в дом которого он вошел вместе со Скруджем, державшимся за его одежду. На пороге двери дух улыбнулся и остановился, дабы кропанием из факела благословить жилище Боба Крэтчита. Ведь только подумать! Боб зарабатывал всего пятнадцать шиллингов в неделю; в субботу он положил в карман пятьдесят монет, носивших его

же имя «Боб»[2] — и однако дух благословил его дом, состоявший всего из четырех комнат. В это время мистрис Крэтчит встала. Она была бедно одета в платье, уже вывернутое два раза, но украшенное дешевыми лентами, которые для шести пенсов, заплаченных за них, были положительно хороши. Со второй своей дочерью, Белиндой, которая также была разукрашена лентами, она накрыла стол. Петр погрузил вилку в кастрюльку с картофелем и, несмотря на то, что углы его большого воротника (воротник этот принадлежал Бобу, который по случаю праздника передал его своему сыну и наследнику) лезли ему в рот, очень радовался своему элегантному платью и охотно показал бы свое белье даже где-нибудь в модном парке. Два маленьких Крэтчита, мальчик и девочка, сломя голову вбежали в комнату с криками, что из пекарни они слышат запах своего гуся. Мечтая с восхищением о шалфее и луке, маленькие Крэтчиты начали танцевать вокруг стола и превозносить до небес Петра Крэтчита, который, несмотря на то, что воротнички окончательно задушили его, продолжал раздувать огонь до тех пор, пока неповоротливый картофель не

[2] Примечания: 2
«Боб» — народное название шиллинга. *(Прим, перев.)*

стал пускать пузыри, а крышка со стуком подпрыгивать, — знак, что наступило время вынуть и очистить его.

— Что случилось с вашим отцом и братом, Тайни-Тимом? — спросила мистрис Крэтчит. — Да и Марта в прошлое Рождество пришла раньше на полчаса.

— А вот и я, мама! — сказала, входя, девушка.

— Вот и Марта, — закричали два маленьких Крэтчита. — Ура! Какой гусь у нас будет, Марта!..

— Что же это ты так запоздала, дорогая? Бог с тобою! — сказала мистрис Крэтчит, целуя дочь без конца и с ласковой заботливостью снимая с нее шаль и шляпу.

— Накануне было много работы, — ответила девушка, — кое-что пришлось докончить сегодня утром.

— Все хорошо, раз ты пришла, — сказала мистрис Крэтчит. — Присядь к огню и погрейся, милая моя. Да благословит тебя Бог!

— Нет, нет! — закричали два маленьких Крэтчи-та, которые поспевали всюду. — Вот идет отец! Спрячься, Марта, спрячься!

Марта спряталась. Вошел сам миленький Боб, закутанный в свой шарф, длиною в три фута, не считая бахромы. Платье его, хотя и было заштопа-

но и чищено, имело приличный вид. На его плече сидел Тайни-Тим. Увы, он носил костыль, а на его ножки были положены железные повязки.

— А где же наша Марта? — вскричал Боб Крэтчит, осматриваясь.

— Она еще не пришла, — сказала мистрис Крэтчит.

— Не пришла, — сказал Боб, мгновенно делаясь грустным. Он был разгорячен, так как всю дорогу от церкви служил конем для Тайни-Тима. — Не пришла в день Рождества!

Хотя Маргарита сделала все это в шутку, она не вынесла его огорчения и, не утерпев, преждевременно вышла из-за двери шкапа и бросилася к отцу в объятия. Два маленьких Крэтчита унесли Тайни-Тима в прачечную послушать, как поет пудинг в котле.

— А как вел себя маленький Тайни-Тим? — спросила мистрис Крэтчит, подшучивая над легковерием Боба, после того как он долго целовался с дочерью.

— Прекрасно, — сказал Боб. — Это золотой ребенок. Он становится задумчивым от долгого одиночества, и потому ему приходят в голову неслыханные вещи. Когда мы возвращались, он рассказал мне, что люди в церкви при виде его

убожества с радостью вспомнили о Рождестве, и о том, кто исцелял хромых и слепых.

Все это Боб говорил с дрожью в голосе и волнением, которое еще более усилилось, когда он выражал надежду, что Тайни-Тим будет здоров и крепок.

По полу раздался проворный стук его костыля, и не успели сказать и одного слова, как Тайни-Тим вместе с своим братом и сестрой вернулся к своему столу, стоявшему возле камина, — как раз в то время, когда Боб, засучив рукава (Бедняк! Он воображал, что их возможно износить еще более!), составлял в глиняном кувшине какую-то горячую смесь из джина и лимонов, которую, размешав, он поставил на горячее место на камине. Петр и два маленьких Крэтчита отправились за гусем, с которым скоро торжественно и вернулись.

С появлением гуся началась такая суматоха, что можно было подумать, что гусь самая редкая птица из всех пернатых — чудо, в сравнении с которым черный лебедь самая заурядная вещь. И действительно, гусь был большой редкостью в этом доме.

Заранее приготовленный в кастрюльке соус мистрис Крэтчит нагрела до того, что он шипел, Петр во всю мочь хлопотал с картофелем, мисс

Белинда подслащивала яблочный соус, Марта вытирала разогретые тарелки. Взяв Тайни-Тима, Боб посадил его за стол рядом с собою на углу стола. Два маленьких Крэтчита поставили стулья для всех, не забыв, впрочем, самих себя, и, заняв свои места, засунули ложки в рот, чтобы не просить гуся раньше очереди.

Наконец, блюда были расставлены и прочитана молитва перед обедом. Все, затаив дыхание, замолчали. Мистрис Крэтчит, тщательно осмотрев большой нож, приготовилась разрезать гуся, и, когда после этого брызнула давно ожидаемая начинка, вокруг поднялся такой шепот восторга, что даже Тайни-Тим, подстрекаемый двумя маленькими Крэтчита-ми, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голоском закричал: «Ура!»

Нет, никогда не было такого гуся! По уверению Боба, невозможно и поверить тому, что когда-либо к столу приготовлялся такой гусь. Его нежный вкус, величина и дешевизна возбуждали всеобщий восторг. Приправленный яблочным соусом и протертым картофелем, гусь составил обед для целой семьи. Увидев на блюде оставшуюся небольшую косточку, мистрис Крэтчит заметила, что гуся съели не всего. Однако все были сыты, и особенно маленькие Крэтчиты, которые сплошь

выпачкали лица луком и шалфеем. Но вот Белинда перемыла тарелки, а мистрис Крэтчит выбежала из комнаты за пудином, взволнованная и смущенная.

— А что, если он не дожарился? А что, если развалился? Что, если кто-нибудь перелез через стену заднего двора и украл его, когда ели гуся. — Это были такие предположения, от которых два маленьких Крэтчита побледнели как смерть. Приходили в голову всевозможные ужасы.

Целое облако пару! Пудинг вынули из котелка, и от салфетки вошел такой запах мокрого белья, что казалось, будто рядом с кондитерской и кухмистерской была прачечная. Да, это был пудинг! Спустя полминуты явилась мистрис Крэтчит, раскрасневшаяся и гордо улыбающаяся, с пудингом, похожим на пестрое пушечное ядро, крепким и твердым, кругом которого пылал ром, а на вершине в виде украшения был пучок остролиста.

Какой дивный пудинг! Боб Крэтчит заметил — и притом спокойно — что мистрис Крэтчит со времени их свадьбы ни в чем не достигала такого совершенства.

Почувствовав облегчение, мистрис Крэтчит призналась в том, что она очень боялась, что положила не то количество муки, которое было

нужно. Каждый мог что-либо сказать, но все воздержались даже от мысли, что для такой большой семьи пудинг недостаточно велик, хотя все сознавали это. Разве можно было сказать что-нибудь подобное? Никто даже не намекнул на это.

Наконец, обед кончен, скатерть убрана со стола, камин вычищен и затоплен. Отведав смесь в кувшине, все нашли ее превосходной; яблоки и апельсины были выложены на стол, и совок каштанов был брошен на огонь. Потом вся семья собралась вокруг камина, расположившись таким порядком, который Боб называл «кругом», подразумевая полукруг, и была выставлена вся стеклянная посуда: два стакана и стеклянная чашка без ручки.

Но посуда эта вмещала все содержимое из кувшина не хуже золотых кубков. Каштаны брызгали и шумно потрескивали, пока Боб с сияющим лицом разливал напиток.

— С праздником вас, с радостью, дорогие! Да благословит вас Бог!

Вся семья и последним Тайни-Тим повторили это восклицание.

Тайни-Тим сидел рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб любовно держал его худую ручку в своей руке, точно боялся, что его отнимут

у него, и хотел удержать.

— Дух, — сказал Скрудж с участием, которого раньше никогда не испытывал, — скажи, будет ли жив Тайни-Тим?

— В уголке, возле камина, я вижу пустой стул, — ответил дух, — и костыль, который так заботливо оберегают! Если тени не изменятся, ребенок умрет.

— Нет, нет! — воскликнул Скрудж. — О, нет! Добрый дух, скажи, что смерть пощадит его.

— Если тени не изменятся, дух будущего Рождества уже не встретит его здесь, — сказал дух. — Что же из того? Если он умрет, он сделает самое лучшее, ибо убавит излишек населения.

Скрудж склонил голову, услышав свои собственные слова, и почувствовал печаль и раскаяние.

— Человек, — сказал дух, — если в тебе сердце, а не камень, воздержись от нечестивых слов, пока не узнаешь, что такое излишек населения. Тебе ли решать, какие люди должны жить, какие умирать? Перед очами Бога, может быть, ты более недостойный, и имеешь меньше права на жизнь, чем миллионы подобных ребенку этого бедняка. Боже! Каково слушать букашку, рассуждающую о таких же, как она сама, букашках, живущих в

пыли и прахе!

Скрудж дрожа наклонил голову и опустил глаза. Но он снова быстро поднял их, услышав свое имя.

— За мистера Скруджа! — сказал Боб. — Пью за здоровье Скруджа, виновника этого праздника

— Действительно, виновник праздника! — воскликнула мистрис Крэтчит, краснея. — Как бы я хотела, чтобы он был здесь. Я бы все высказала ему откровенно, и, думаю, мои слова не пришлись бы ему по вкусу.

— Дорогая моя, — сказал Боб, — ведь сегодня день Рождества!

— Конечно, — сказала она, — только ради такого дня и можно выпить за здоровье такого противного, жадного и бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Никто лучше тебя не знает его, бедный Роберт!

— Дорогая, — кротко ответил Боб, — ведь сегодня Рождество!

— Только ради тебя и такого дня я выпью за его здоровье, — сказала мистрис Крэтчит, — но не ради Скруджа. Дай Бог ему подольше пожить! Радостно встретить праздник и счастливо провести Новый год! Я не сомневаюсь, что он будет весел и счастлив!

После нее выпили и дети. Это было первое, что они сделали без обычной сердечности. Тайни-Тим выпил последним, оставаясь совершенно равнодушным к тосту. Скрудж был истым чудовищем для всей семьи, упоминание его имени черной тенью осенило всех присутствующих, и эта тень не рассеивалась целых десять минут.

Но после того, как они отделались от воспоминаний о Скрудже, они почувствовали такое облегчение, что стали в десять раз веселее.

Боб сказал, что имеет в виду место для Петра и если удастся получить это место, то оно будет приносить еженедельно пять шиллингов и шесть пенсов.

Два маленьких Крэтчита страшно смеялись при мысли о том, что вдруг Петр станет дельцом; а сам Петр задумчиво смотрел из-за своих воротничков на огонь, точно соображая, куда лучше поместить капитал, с которого он будет получать фантастический доход. Марта, служившая ученицей у модистки, рассказала о своих работах, о количестве часов, которые она работала подряд, и мечтала о том, как завтра она будет долго лежать в постели и наслаждаться отдыхом. Завтра праздник, и она проведет его со своими. Она рассказывала еще о том, как несколько дней

тому назад видела лорда, который был так же высок ростом, как Петр; при этом Петр так высоко потянул воротнички, что почти не стало видно его головы. Все это время каштаны и кружка переходили из рук в руки, а вскоре Тайни-Тим запел песнь о заблудившемся в снегах ребенке — запел маленьким жалобным голоском, но поистине чудесно.

Во всем этом празднике не было ничего особенного. Одеты все были бедно, красивых лиц не было. Башмаки были худы, промокали, платья поношены, и очень вероятно, что Петр отлично знал, где закладывают вещи. Но все были счастливы, довольны, благодарны друг другу, и когда исчезали в ярких потоках света, исходивших из факела духа, то казались еще счастливее, и Скрудж до последней минуты своего пребывания у Боба не спускал глаз с его семьи, а особенно с Тайни-Тима.

Тем временем стало темно, и пошел довольно сильный снег. В кухнях, гостиных и других покоях домов чудесно блестели огни, когда Скрудж и дух проходили по улицам. Там, при колеблющемся свети камина, шли, очевидно, приготовления к приятному обеду с горячими тарелками, насквозь прохваченными жаром; там, чтобы заградить

доступ мраку и холоду, можно было во всякий момент опустить темно-красные гардины. Там все дети выбежали на улицу, в снег, встретить своих веселых сестер, братьев, кузин, дядей и теток и первыми повидаться с ними. Там, напротив, на оконных шторах ложатся тени собравшихся гостей; а здесь толпа девушек, наперебой болтающих друг с другом, перебегает легкими шагами в соседний дом — и плохо тому холостяку, который увидит их с пылающими от мороза лицами, — а об этом хорошо знают коварные чародейки!

Судя по множеству людей, шедших в гости, можно было подумать, что никого не осталось дома и некому было встречать гостей, которых, однако, ожидали повсюду, затопив камины. Дух радостно благословлял все. Обнажив свою широкую грудь и большую длань, он понесся вперед, изливая по пути чистые радости на каждого.

Даже фонарщик, усеивающий сумрачную улицу пятнами света, оделся в праздничное платье в чаянии провести вечер где-нибудь в гостях, и громко смеялся, когда проходил дух, впрочем, нимало не подозревая об этом.

Но вот, без всякого предупреждения со стороны духа, они остановились среди холодного пустынного болота, где громоздились чудовищные

массы грубого камня, точно это было кладбище гигантов; вода здесь разливалась бы где только возможно, если бы ее не сковал мороз. Здесь не росло ничего, кроме моха, вереска и жесткой густой травы. Заходящее на западе солнце оставило огненную полосу, которая, на мгновение осветив пустыню и все более и более хмурясь, подобно угрюмому глазу, потерялась в густом мраке темной ночи.

— Что это за место? — спросил Скрудж.

— Здесь живут рудокопы, работающие в недрах земли, — отозвался дух. — И они знают меня. Смотри.

В окнах хижины блеснул свет, и они быстро подошли к ней. Пройдя через стену, сложенную из камня и глины, они застали веселую компанию, собравшуюся у пылающего огня и состоявшую из очень старого мужчины и женщины с детьми, внуками и правнуками. Все были одеты по-праздничному. Старик пел рождественскую песнь, и его голос изредка выделялся среди воя ветра, разносясь в бесплодной пустыне.

То была старинная песня, которую он пел еще мальчиком; время от времени все голоса сливались в один хор. И всякий раз, когда они возвышались, старик становился бодрее и ра-

достнее, и смолкал, как только они упадали.

Дух недолго оставался в этом месте и, приказав Скруджу держаться за его одежду, полетел над болотом. Но куда он спешил? Не к морю ли? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж с ужасом увидел конец суши, ряд страшных скал; он был оглушен неистовым гулом волн, которые крутились, бушевали и ревели среди черных пещер, выдолбленных ими, и так яростно грызли землю, точно хотели срыть ее до основания. Но на мрачной гряде подводных скал в нескольких милях от берега, где весь год бешено билось и кипело море, стоял одинокий маяк. Множество морских водорослей прилипало к его подножию, и буревестники, рожденные морским ветром, как водоросли — морской водой, поднимались и падали вокруг него, подобно волнам, которых они чуть касались крыльями.

Но даже и здесь два человека, сторожившие маяк, развели огонь, который сквозь оконце в толстой стене проливал луч света на грозное море. Протянув друг другу мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели с кружками грога, они поздравляли друг друга с праздником: тот, который был старше и лицо которого от суровой непогоды было покрыто рубцами, как лица фигур

на носах старых кораблей, затянул удалую песню, звучавшую как буря.

Снова понесся дух над черным взволнованным морем, все дальше и дальше, пока, наконец, далеко от берега, они не опустились на какое-то судно. Они побывали позади кормчего, занимающего свое обычное место, часового на носу, офицеров на вахте, стоявших на своих постах, подобно призракам. Каждый из них думал о Рождестве, тихонько напевал рождественскую песнь или рассказывал вполголоса своему товарищу о прошедших праздниках и делился своими мечтами о родине, тесно связанными с этими праздниками. Каждый из бывших на корабле моряков, бодрствовал он или спал, был ли добр или зол, каждый в этот день становился ласковее и добрее, чем когда-либо, и вспоминал о тех далеких людях, которых он любил, веря, что и им отрадно думать о нем.

Прислушиваясь к завываниям ветра, Скрудж думал о том, как сильно должно поражать сознание, что ты несешься сквозь безлюдную тьму над неведомой бездной, глубины которой таинственны, как смерть. Занятый такими мыслями Скрудж очень удивился, услышав вдруг искренний смех, и удивился еще более, когда узнал смех

своего племянника и очутился в теплой, ярко освещенной комнате рядом с духом, который приветливо улыбался его племяннику.

— Ха! ха! — смеялся тот. — Ха, ха, ха!

Если вам, благодаря какому-либо невероятному случаю, приходилось знать человека, превосходящего племянника Скруджа способностью так искренно смеяться, то я скажу, что охотно познакомился бы и постарался сблизиться с ним.

Как прекрасно и целесообразно устроено все на свете! Заразительны печали и болезни, но ничто так не заражает, как смех и веселость. Вслед за своим мужем, который смеялся, держась за бока и корча всевозможные гримасы, не менее искренно смеялась жена. Собравшиеся гости также не отставали от них.

— Ха, ха, ха, ха!

— Он сказал, что Рождество вздор! Честное слово! — вскричал племянник Скруджа. — Мало того, он твердо убежден в этом!

— Тем стыднее для него! — с негодованием сказала племянница Скруджа. — Да благословит Бог женщин: они никогда ничего не делают наполовину и ко всему относятся серьезно.

Жена племянника Скруджа была очень хорошенькая женщина. Ее личико, с ямочками на

щеках, несколько удивленным выражением, ярким маленьким ротиком, точно созданным для поцелуев и который, конечно, часто целовали, было очень привлекательно. Прелестные маленькие пятнышки на подбородке сливались, когда она начинала смеяться, а пару таких блестящих глаз вам вряд ли случалось видеть.

Словом, она была очень пикантна, и никто не пожалел бы, познакомившись с ней поближе.

— О, он забавный старик, — сказал племянник Скруджа, — это правда, и не так приятен, как мог бы быть. Я не упрекаю его: за свои ошибки он сам же и получает должное.

— Я уверена, что он очень богат, — попробовала намекнуть племянница Скруджа. — По крайней мере, ты всегда уверяешь в этом.

— Что же из того, дорогая, — сказал племянник Скруджа, — его богатство не приносит ему никакой пользы. Что хорошего он из него извлек? Он не видит от него никакой радости. Его нисколько не утешает мысль, что он мог бы осчастливить нас своим богатством. Ха, ха, ха!

— Невыносимый человек, — заметила племянница Скруджа. И сестры ее и все другие женщины присоединились к ее мнению.

— Нет, я не согласен с этим, — сказал племян-

ник Скруджа. — Мне жаль его. Я не мог бы на него сердиться, если бы и хотел. Кто страдает от его чудачеств? Только он сам. Видите ли, он забрал себе в голову, что не расположен к нам и не хочет прийти обедать. Ну и что же? Он же и теряет, хотя, правда, немного.

— А по-моему, он лишился очень хорошего обеда, — прервала племянница Скруджа.

Все подтвердили ее слова, и с тем большим основанием, что обед был кончен, и все собрались вокруг стола за десертом при свете лампы.

— Мне очень приятно это слышать, — сказал племянник Скруджа, — ибо я не очень-то доверяю искусству молодых хозяек. Вы что скажете, Топпер?

Очевидно, имея виды на одну из сестер племянницы Скруджа, Топпер ответил, что холостяк — человек жалкий, отверженный и не имеет права выражать своего мнения по этому поводу. Одна из сестер племянницы Скруджа, полная девушка в кружевной косынке (не та, у которой были розы), покраснела при этих словах.

— Продолжай же, Фред, — сказала племянница Скруджа, захлопав в ладоши. — Никогда он не договаривает того, что начнет. Смешной человек!

Снова племянник Скруджа так расхохотался,

что невозможно было не заразиться его веселием. Все единодушно последовали его примеру, хотя сестра племянницы Скруджа, полная девушка, желая удержаться от смеха, усиленно нюхала ароматический уксус.

— Я хотел только сказать, — промолвил племянник Скруджа, — что следствием его нерасположения к нам и нежелания повеселиться вместе с нами выходит то, что он теряет много прекрасных минут, которые, конечно, не принесли бы ему вреда. Все же, я думаю, ему гораздо интереснее было бы посетить нас, чем носиться со своими мыслями или сидеть в затхлой старой конторе или пыльных комнатах. Мне жал его, а потому ежегодно я намерен приглашать его к нам, не обращая внимания на то, нравится ли это ему или нет. Пусть до самой смерти он относится с Рождеству так, как теперь; не считаясь с этим, я все-таки ежегодно буду приходить к нему и радостно спрашивать: «Как ваши здоровье, дядюшка?..» и, надеюсь, он переменит, наконец, о нем мнение. И если, под влиянием этого, он оставит своему бедному писцу 50 фунтов стерлингов после смерти, то и этого будет довольно с меня. Думаю, что вчера мои слова тронули его.

Все засмеялись при последних словах. Но бу-

дучи предобродушно настроен и нисколько не смущаясь тем, что смеются над ним, лишь бы только смеялись, племянник Скруджа поощрял их в этом веселии, передавая с сияющим видом из рук в руки бутылку вина.

Семья была музыкальна, и сейчас же после чая началась музыка. Все отлично знали свое дело, а особенно Топпер, который во время исполнения хоровой песни и канона рычал басом, даже не покраснев и не напружив толстых жил на лбу. Племянница Скруджа хорошо играла на арфе и среди других пьес исполнила простую коротенькую песенку (ее можно было выучиться насвистывать в две минуты), знакомую даже тому маленькому ребенку, который приезжал за Скруджем в пансион, как об этом ему напомнил дух минувшего Рождества.

Когда раздалась эта мелодичная песенка, Скрудж вспомнил все то, что показал ему дух. Песенка очень растрогала его, и он подумал, что, если бы он прежде слышал ее чаще, он относился бы сердечнее к людям и достиг бы счастья и без помощи могильщика, закопавшего тело Якова Марли. Но музыке был посвящен не весь вечер. Спустя некоторое время начали играть в фанты. Хорошо иногда сделаться детьми, а лучше всего

быть ими в дни Рождества, когда сам Великий Основатель его был ребенком. Сначала, разумеется, играли в жмурки. Я также мало верю тому, что глаза Топпера были завязаны, как тому, что они были у него в сапогах. Между Топпером и племянником Скруджа был, очевидно, уговор помогать друг другу, о чем знал и дух Рождества. Уже одно то, как он ловил полную сестру племянницы Скруджа, было издевательством над человеческой доверчивостью. Преследуя ее повсюду, он опрокидывал каминные принадлежности, спотыкался о стулья, наталкивался на фортепиано, запутывался в занавесах; он всегда знал, где она, и ловил только ее одну. Если бы вы умышленно старались попасться ему под руку (что и делали некоторые), он сделал бы вид, что ловит вас, а на деле стремился бы только к полной девушке. Она все кричала, что это не честно и была, конечно, права. Но, наконец, он поймал ее, загнав в угол, откуда не было выхода, несмотря на все старания ее пропорхнуть мимо него, шурша шелковым платьем. Здесь поведение его стало еще возмутительнее! Он притворился, что не узнает ее. Ему, видите ли, надо было дотронуться до нее, чтобы убедиться в этом, ощупать кольцо на ее руке или цепочку на ее шее. Гадко и омерзительно! Вос-

пользовавшись моментом, когда ловил другой, а они оставались наедине за занавесками, она, конечно, откровению высказала, ему свое мнение о его поведении.

Усевшись на большом стуле в уютном уголке и поставив ноги на скамейку, племянница Скруджа совсем не играла в жмурки. Позади нее стояли дух и Скрудж. В фанты же играла и она — и играла действительно искусно. Когда она играла в игру «Как, когда и где», она, к великому удовольствию своего мужа, перещеголяла своих сестер, несмотря на то, что и они были очень находчивы в этой игре, — это мог подтвердить и сам Топпер. Скрудж также принимал участие в игре, ибо играли все присутствующие двадцать человек, молодые и старые. Играя, Скрудж иногда совершенно забывал о том, что не слышно его голоса, и часто вслух давал верные советы. Порой ни одна иголка самого лучшего изделия не могла своей остротой превзойти Скруджа, хотя он и делал вид, что мало догадлив.

Дух был очень доволен настроением Скруджа и так ласково смотрел на него, что тот, как мальчик, просил еще побыть здесь до тех пор, пока гости не разойдутся. Однако дух не согласился.

— Начинается новая игра, — сказал Скрудж. —

Еще полчаса, дух.

Игра называлась «Да и нет». Все должны были отгадать то, что задумывал племянник Скруджа.

На вопрос он имел право отвечать только словами: «да» и «нет». На него полился целый поток вопросов — и выяснялось, что задумал он животное, не совсем приятное, дикое, которое иногда рычит и хрюкает, иногда говорит, проживает в Лондоне и расхаживает по улицам, — животное, которого не показывают, не держат в зверинце и не предназначают на убой, которое — ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе, который предлагали загадавшему, он разражался звонким смехом, точно его щекотали, и в припадке такого смеха соскакивал с дивана и топал ногами.

— Угадала, знаю, Фред, что это, — воскликнула, наконец, полная девушка, сестра племянницы Скруджа, разразившись таким же смехом. — Знаю!

— Что? — воскликнул Фред.

— Ваш дядя Скрудж.

Она угадала. Все были в восторге. Некоторые, впрочем, заметили, что на вопрос: «Медведь ли это?» надо было ответить «Да», а отрицательный

ответ повел к тому, что отвлек мысли от Скруджа, хотя многие и думали о нем.

— Мы уж достаточно повеселились по его милости, — сказал Фред. — В благодарность за это удовольствие выпьем за его здоровье. Вот стакан глинтвейна. Итак: «За здоровье дяди Скруджа!»

— Прекрасно! За здоровье дяди Скруджа! — воскликнули все.

— Желаем ему радостно встретить праздник. Каков бы ни был старик Скрудж, мы желаем ему счастливого Нового года! — сказал племянник Скруджа.

Незаметно для самого себя дядя Скрудж сделался так весел, и на душе у него стало так радостно, что он, если бы дух не торопил его, с удовольствием ответил бы тостом всем присутствующим, которые и не подозревали, что он находится среди них… Но все исчезло раньше, чем племянник Скруджа договорил последние слова. Скрудж и дух снова уже были в пути.

Чего, чего они ни видали в своих долгих странствованиях! Они посетили множество домов, всюду принося счастье; останавливались у кроватей больных — и дух облегчал их страдания, те же, которые были в чужих странах, чувствовали себя, благодаря ему, как на родине. В людей

борьбы дух вселял надежды, бедные чувствовали себя в его присутствии богатыми. В богадельне, госпитале, тюрьме, в притонах нищеты, — везде, где только человек не закрывал дверей перед духом, он рассыпал свои благословения и поучал Скруджа.

Если только все это совершилось в одну ночь, то ночь эта была очень длинна, — казалось, что она вместила в себя много рождественских ночей. Странно было то, что в то время, как Скрудж оставался таким, каким был, дух, видимо, старел. Заметив в нем эту перемену, Скрудж, однако, ничего не сказал о ней до того момента, как они вышли из дома, где была детская вечеринка. Тут, оставшись наедине с духом под открытым небом, он вдруг заметил, что волосы духа стали седыми.

— Разве жизнь духов так коротка? — спросил Скрудж.

— Моя жизнь кончится сегодня ночью.

— Так для тебя эта ночь последняя! — воскликнул Скрудж.

— Да, конец мой нынче в полночь. Час мой близок. Слушай.

В этот момент часы пробили три четверти двенадцатого.

— Прости за нескромный вопрос, — сказал

Скрудж, внимательно присматриваясь к одежде духа. — Я вижу под твоей одеждой что-то странное, тебе несвойственное. Нога это или лапа?

— Как будто лапа, — печально ответил дух.

Из складок его одежды вышло двое детей, несчастных, забитых, страшных, безобразных и жалких. Возле ног духа они стали на колени, цепляясь за полы его плаща.

— О, человек! — воскликнул дух. — Взгляни сюда!

То были мальчик и девочка. Желтые, худые, оборванные, они, точно волчата, смотрели исподлобья, но взгляд их был несмелый, покорный. Казалось бы, прелесть и свежесть молодости должна была светиться в их чертах. Но дряхлая, морщинистая рука времени уже обезобразила их. Там, где должны были царить ангелы, таились и грозно глядели дьяволы. Никакая низость, никакая извращенность, как бы велики они ни были, не могли создать в мире подобного уродства.

Скрудж в ужасе отшатнулся. Он хотел сказать, что дети красивы, но слова сами собой замерли у него на устах, которые не осмеливались произнести подобной лжи.

— Дух, они твои? — только и мог сказать Скрудж.

— Нет, это дети человека, — произнес дух, смотря на них. — Они не выпускают края моей одежды, взывая о защите от собственных своих родителей. Мальчик — невежество, девочка — нужда. Остерегайся их обоих и всех подобных им, а пуще всего мальчика, ибо на челе его начертано: гибель. Остерегайся его, если только не сотрется это роковое слово. Восстань на него! — вскричал дух. — Или же, ради своих нечистых умыслов, узаконяй его, увеличивай его силу! Но помни о конце!

— Разве у них нет крова, разве никто не протягивает им руку помощи? — воскликнул Скрудж.

— Разве не существует тюрем? — спросил дух, обращаясь к нему в последний раз. — Разве нет работных домов?

Колокол пробил двенадцать.

Скрудж хотел взглянуть на духа, но дух уже исчез. Когда замер последний звук колокола, Скрудж вспомнил предсказание Якова Марли и, подняв глаза, увидел величественный образ, привидение с закутанной головой, которое, точно облако тумана, подвигалось к нему.

Строфа IV
Последний дух

Призрак подходил безмолвно, медленно, важно. При его приближении Скрудж упал на колени. Что-то мрачное и таинственное рассеивал призрак вокруг себя.

Голова, лицо, вся фигура его были закутаны в черную мантию, и, если бы не оставшаяся на виду простертая вперед рука, его трудно было бы отделить от ночного мрака.

Когда призрак поравнялся со Скруджем, Скрудж заметил, что он был огромного роста, и таинственное присутствие его наполнило душу Скруджа торжественным ужасом. Призрак был безмолвен и неподвижен.

— Я вижу духа будущего Рождества? — спросил Скрудж.

Призрак не ответил, но указал рукой вперед.

— Ты покажешь мне тени вещей, которых еще нет, но которые будут? — продолжал Скрудж. — Да?

Казалось, дух наклонил голову, ибо верхний край его мантии на мгновение собрался в

складки. Это был единственный ответ, который получил Скрудж. Он уже привык к общению с духами, но этот безмолвный образ вселил в него такой страх, что ноги его дрожали; он чувствовал, что едва держится на них, что не в состоянии следовать за духом. Дух помедлил мгновение, точно наблюдая за ним и давая ему время опомниться.

Но от этого Скруджу сделалось еще хуже. Безотчетный, смутный страх охватил его при мысли, что из-под этого черного покрывала на него устремлены бесплотные очи, тогда как он, сколько ни старался напрягать свое зрение, ничего не видал, кроме призрачной руки и бесформенной черной массы.

— Дух будущего! — воскликнул Скрудж. — Ты страшишь меня больше прежних духов, виденных мною. Но зная твое желание сделать меня добрым и надеясь стать иным человеком, чем прежде, я готов с благодарностью следовать за тобою. Почему ты ничего не говоришь мне?

Дух по-прежнему молчал. Его рука была направлена вперед.

— Веди меня! — сказал Скрудж. — Веди меня! Ночь убывает, а время дорого мне — я знаю это. Веди меня, дух!

Призрак стал отдаляться от Скруджа точно так

же, как и подходил к нему. В тени его мантии Скрудж последовал за ним, и ему казалось, что она уносила его с собой, а город как будто сам надвигался и окружал их.

Они очутились как раз в центре городка, на бирже, среди купцов, суетливо бегавших взад и вперед, звеневших деньгами, толпившихся и разговаривавших между собой, посматривавших на часы, задумчиво игравших золотыми брелоками часов, — словом, они очутились в обстановке, хорошо знакомой Скруджу.

Дух остановился возле небольшой кучки купцов. Заметив, что рука духа указывала на нее, Скрудж подошел послушать разговор.

— Нет, — сказал крупный, толстый господин с громадным подбородком. — Я об этом совершенно ничего не знаю. Знаю только то, что он умер.

— Когда же? — спросил другой. — Кажется, прошлой ночью?

— Что же случилось с ним? — спросил третий, взяв из объемистой табакерки большую щепотку табаку. — А я думал, что он никогда не умрет.

— Бог его знает, — сказал первый, зевая.

— А что он сделал с деньгами? — спросил господин с красным лицом и висячим, трясущимся, как у индюка, наростом на конце носа.

— Я не слыхал, — сказал человек с большим подбородком и опять зевнул. — Но, может быть, он завещал деньги своей гильдии? Мне он их не оставил, я это прекрасно знаю.

Эта шутка вызвала общий смех.

— Вероятно, похороны будут очень скромные, — сказал тот же самый господин. — Я не знаю никого, кто бы пошел его проводить до могилы. Честное слово! Не пойти ли нам, не дожидаясь приглашения?

— Я, пожалуй, не прочь, но только в том случае, если будет завтрак, — заметил господин с наростом на носу. — Только тогда я приму участие в проводах, если меня угостят.

Снова раздался хохот.

— Чудесно! А я вот бескорыстнее вас всех, — сказал первый господин, — я никогда не носил черных перчаток и не ел похоронных завтраков. Но все же и провожу его, если найдутся еще желающие. Мне теперь сдается, — не был ли я его близким другом, ибо, встречаясь с ним, мы обыкновенно раскланивались и перекидывались несколькими словами. Прощайте, господа! Счастливо оставаться!

Говорившие и слушавшие разбрелись и смешались с другими группами. Скрудж хорошо знал

этих людей и вопросительно взглянул на духа, ожидая объяснения того, что только что говорилось на бирже.

Но дух уже двинулся далее по улице. Он указал пальцем на двух встретившихся людей. Стараясь и здесь найти объяснение толков на бирже, Скрудж снова прислушался. Он знал и этих людей: то были очень богатые и знатные деловые люди. Скрудж всегда дорожил их мнением, конечно, в сфере чисто деловых отношений.

— Как поживаете? — сказал один из них.

— А вы как? — спросил другой.

— Хорошо, — сказал первый. — Старый хрыч, так-таки допрыгался,

— Я слышал, — ответил второй. — А холодно, не правда ли?

— По-зимнему, ведь Рождество! Вы не катаетесь на коньках?

— Нет. Нет, мне не до того! Мне и кроме этого есть о чем подумать! До свидания!

Сначала Скрудж удивился, почему дух придавал такую важность столь пустым, по-видимому, разговорам, но, чувствуя, что в них кроется какой-то особенный смысл, задумался. Трудно было допустить, что разговор шел о смерти его старого компаньона Якова Марли, ибо то относилось к

области прошлого; здесь же было царство духа будущего. Он не мог вспомнить никого из своих знакомых, кто был бы связан непосредственно с ним и к кому он мог бы отнести их разговор. Но, нисколько не сомневаясь, что, к кому бы он ни относился, в нем скрывается тайный смысл, клонящийся к его собственному благу, он старался сохранить в памяти каждое слово, — все, что видел и слышал. Он решил тщательно наблюдать за своим двойником, как только тот появится, надеясь, что поведение его двойника послужит руководящей нитью к изъяснению всех загадок.

Он оглядывался вокруг себя, ища взорами своего двойника. Но в том углу, где обычно стоял Скрудж, был другой человек, часы же показывали как раз то время, когда должен был быть там Скрудж. Притом в толпе, которая стремительно входила в ворота, он не заметил ни одного человека, похожего на него самого. Однако это мало удивило его, ибо, решившись изменить образ жизни, он свое отсутствие здесь объяснял осуществлением своих новых планов.

Протянув вперед руку, стоял сзади него спокойный, мрачный призрак. Очнувшись от сосредоточенной задумчивости, Скрудж почувствовал, по повороту руки призрака, что его невидимые

взоры были пристально устремлены на него. Скрудж содрогнулся, точно от холода.

Покинув бойкое торговое место, они отправились в смрадную часть города, куда Скрудж никогда не проникал прежде, хотя и знал ее местоположение и дурную славу, которой она пользовалась. Улицы были грязны и узки, лавки и дома жалки, люди полуодеты, пьяны, безобразны, обуты в стоптанную обувь. Закоулки, проходы в ворота, места под арками, словно помойные стоки, изрыгали зловоние, грязь и толпы людей. Ото всего квартала так и веяло пороком, развратом и нищетой.

В глубине этого гнусного вертепа находилась низкая, вросшая в землю, с покосившейся крышей и навесом, лавчонка, — лавчонка, в которой скупали железо, старое тряпье, бутылки, кости и всякий хлам. Внутри ее, на полу, были навалены кучи ржавых гвоздей, ключей, цепей, дверных петель, пил, весов, гирь и всякого скарба. Мало охотников нашлось бы узнать те тайны, которые скрывались здесь под грудами безобразного тряпья, под массами разлагающегося сала и костей. Среди всего этого, возле печки, топившейся углем и сложенной из старых кирпичей, сидел торговец — седой, старый, семидесятилетий плут.

Защитившись от холода грязной занавеской, сшитой из разных лохмотьев и висевшей на веревке, он курил трубку, наслаждаясь мирным уединением.

Скрудж и дух вошли в лавку одновременно с женщиной, тащившей тяжелый узел; почти следом за ней и тоже с узлом в лавку вошла другая женщина, а по пятам за ней вошел человек в полинялой черной паре. Увидав и узнав друг друга, они остолбенели. Затем, после несколько мгновений смущения и удивления, которым охвачен был и сам хозяин, державший трубку в руке, все разразились смехом.

— Позвольте поденщице быть первой, — сказала прежде всех вошедшая женщина. — Прачка пусть будет второй, а слуга гробовщика — третьим. Каково, старик Джо! Нежданно-негаданно мы все трое встретились здесь.

— Место, как нельзя более подходящее, — сказал старик Джо, вынимая трубку изо рта. — Но идем в гостиную! Вы знаете, что вы там с давних пор свой человек, да и те двое не чужие. Подождите, я затворю дверь в лавку. Ах, как она скрипит! Мне кажется, что в моей лавке нет ни одного куска железа более заржавленного, чем ее петли, и, я уверен, что нет ни единой кости старее моих;

ха, ха! Наша профессия и мы сами — мы стоим друг друга. Но в гостиную! Идемте же!

Гостиной называлось отделение за занавеской, сшитой из тряпок. Старик сгреб угли в кучу старым железным прутом, бывшим когда-то частью перил, лестницы и, оправив коптящую лампочку (была ночь) чубуком своей трубки, снова взял ее в рот.

В то время, когда он делал это, говорившая до этого женщина бросила свой узел на пол и развязно уселась на стул, положив руки на колени, нахально и вызывающе смотря на прочих.

— Ну, что из того? Что из того, мисс Дильбер! — сказала женщина. — Каждый человек имеет право заботиться о самом себе. Он так и делал всегда.

— Это совершенно верно, — сказала прачка. — Но, кажется, никто не воспользовался этим правом в большей степени, чем он.

— Ну, чего вы таращите глаза друг на друга, точно друг друга боитесь? Кто знает об этом? Кажется, нам нет смысла строить друг другу каверзы.

— Конечно, — сказали в один голос Дильбер и слуга гробовщика. — Конечно!

— Ну, и отлично, — воскликнула женщина. — Довольно об этом. Кому станет хуже от того, что

мы кое-что взяли? Не мертвецу же!

— Разумеется, — сказала Дильбер смеясь.

— Если этот скаред хотел сохранить все эти вещички после смерти, — продолжала женщина, — то почему при жизни он никому не делал добра: ведь если бы он был подобрее, наверное, нашелся бы кто-нибудь, кто приглядел бы за ним при кончине, не оставил бы его одиноким при последнем издыхании.

— Нет слов справедливее этих! — сказала Дильбер. — Вот и наказание ему.

— Было бы даже лучше, если бы оно было потяжелее! — ответила женщина. — Оно и было бы таковым, поверьте мне, если бы только я могла забрать еще что-нибудь. Развяжите узел, старик Джо, и назначьте цену за вещи. Говорите начистоту. Я не боюсь того, что вы развяжете мой узел первым, а они увидят содержимое его. Кажется, мы довольно хорошо знаем занятия друг друга, еще и до встречи здесь. В этом нет греха. Развязывайте узел, Джо.

Но деликатность ее сотоварищей не позволила этого, и человек в черной полинявшей паре отважился первым показать награбленную добычу: ее было немного. Одна или две печати, серебряный карандаш, пара запонок и дешевенькая

булавка для галстука — вот и все! Старик Джо рассматривал и оценивал каждую вещь в отдельности, мелом записывая на стене сумму, которую рассчитывал дать за каждую вещь.

Кончив дело, он подвел итог.

— Вот! — сказал Джо. — Я не прибавлю и шести пенсов, даже если б меня живьем сварили в кипятке. Теперь чья очередь?

Следующей была мистрис Дильбер. У нее было несколько простынь, полотенец, немного носильного платья, одна или две старомодных чайных серебряных ложки, сахарные щипцы и несколько сапог.

Ее счет записывался на стене тем же порядком.

— Женщинам я даю всегда очень дорого. Это моя слабость, и она вконец разорит меня, — сказал старик Джо. — Вот ваш счет. Если вы будете настаивать на прибавке даже в одно пенни, я раскаюсь в своей щедрости и вычту полкроны.

— А теперь развяжите мой узел, Джо, — сказала первая женщина.

Чтобы развязать его, Джо для большого удобства опустился на колени и, развязав множество узлов, вытащил большой тяжелый сверток какой-то темной материи.

— Что это? — спросил Джо. — Постельные за-

навески?

— Да, — ответила женщина со смехом, покачиваясь. — Постельные, занавески.

— Неужели ты хочешь сказать, что ты сняла их вместе с кольцами, когда он еще лежал на кровати? — спросил Джо.

— Разумеется, — ответила женщина. — А почему бы мне и не снять их?

— Тебе на роду написано быть богатой, — сказал Джо, — и ты, наверное, добьешься этого.

— Раз представляется случай что-нибудь взять, да еще у такого человека, я стесняться не стану! — возразила женщина хладнокровно. — Не капните маслом на одеяло.

— Разве это его одеяло? — спросил Джо.

— А чье же еще, вы думаете? — ответила женщина. — Небось, не простудится и без одеяла.

— Надеюсь, он умер не от какой-либо заразной болезни? — спросил старик Джо, оставляя работу и смотря на нее.

— Но беспокойтесь, — возразила женщина. — Не такое уж удовольствие доставляло мне его общество, не стала бы я из-за этого хлама долго возиться с ним, если бы он действительно умер от такой болезни. Разглядывайте сколько угодно, не найдете ни одной дыры, ни одного потертого

места. Это — самая лучшая и самая тонкая из всех его рубашек. Не будь меня, она так бы и пропала зря!!

— Что вы этим хотите сказать? Почему пропала бы? — спросил старик Джо.

— Наверное, ее надели бы на него и похоронили бы в ней, — отвечала женщина со смехом. — Дай нашелся было такой дурак, который сделал это, но я снова сняла ее. Если и коленкор не хорош для этой цели, то на что же после этого он годен! Коленкор очень идет к покойнику, и авось он не станет хуже в коленкоре, чем в этой рубашке.

Скрудж с ужасом слушал этот разговор. Когда все грабители собрались вокруг своей добычи при тусклом свете лампочки старика, он с омерзением и отвращением смотрел на них, он не чувствовал бы себя лучше, даже если бы сами демоны торговали его трупом.

— Ха, ха! — смеялась та же женщина, когда старый Джо выложил фланелевый мешок с деньгами и стал считать, сколько приходятся каждому. — Вот и развязка! Всю жизнь он скряжничал, словно для того, чтобы после своей смерти дать нам поживиться. Ха, ха, ха!

— Дух, — сказал Скрудж, дрожа всем телом. — Я вижу, вижу. Участь того несчастного может быть

и моей. Мне не избежать ее! Но, Боже милосердный! Что это?

Он отшатнулся в ужасе, ибо сцена изменилась, и он очутился возле голой, незанавешенной постели, на которой, под изорванным одеялом, лежало что-то говорившее своим молчанием больше, чем словами.

Комната была настолько темна, что ее почти невозможно было рассмотреть, хотя Скрудж, повинуясь какому-то тайному влечению, внимательно разглядывал окружающее, стараясь определить, что это за комната. Бледный свет, проникавший снаружи, падал прямо на кровать, на которой лежал забытый, ограбленный, беспризорный и неоплаканный труп.

Скрудж смотрел на дух. Его неподвижная рука указывала на голову. Покров был накинут так небрежно, что достаточно было легкого прикосновения, чтобы он спал с лица, Скрудж подумал о том, как легко это сделать, томился желанием сделать это, но не имел силы откинуть покрывала, равно как и удалить призрак, стоявший рядом с ним.

О, смерть, суровая, ледяная, ужасная, воздвигни здесь свой алтарь и облеки его таким ужасом, каким только можешь, ибо здесь твое царство!

Но по твоей воле не спадет и единый волос с головы человека, заслужившего любовь и почет. Ты не в силах, ради страшных целей своих, внушить отвращение к чертам лица его, хотя рука его тяжела и падает, когда ее оставляют, хотя прекратилось биение сердца его и замер пульс; эта рука была верна, честна, открыта; это сердце было правдиво, тепло и нежно, этот пульс бился по-человечески. Рази, убивай! Ты увидишь, как из ран прольется кровь его добрых дел и возрастит в мире жизнь вечную!

Никто не сказал Скруджу этих слов, но он слышал их, когда смотрел на кровать. Он думал о том, каковы были бы первые мысли этого человека, если бы он встал теперь. Алчность, страсть к наживе, притеснение ближнего? Поистине, к великолепному концу они привели его.

Он лежал в темном, пустом доме, всеми покинутый, не было ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, которые сказали бы: он был добр к нам, и мы заплатим ему тем же. Кошка царапалась в дверь, а под каменным полом, под камином что-то грызли крысы. Почему они старались проникнуть в комнату покойника, почему они были так неугомонны и беспокойны, — об этом Скрудж боялся и думать.

— Дух, — сказал он, — здесь страшно. — Поверь, оставив это место, я не забуду твоего урока. Уйдем отсюда!

Но дух указал на голову трупа.

— Понимаю тебя и сделал бы это, — сказал Скрудж, — но не могу. Не имею силы, дух, не имею.

И снова ему показалось, что призрак смотрит на него.

— Есть ли хоть один человек в городе, который сожалеет о кончине этого несчастного? — спросил Скрудж, изнемогая. — Покажи мне такого, дух.

Призрак раскинул перед ним на мгновение черную мантию, подобно крылу, и, открыв ее, показал комнату при дневном свете, комнату, где была мать с детьми. Она тревожно ожидала кого-то, расхаживая взад и вперед по комнате и вздрагивая при малейшем звуке, смотря то в окно, то на часы. Несмотря на все усилия, она не могла приняться за иглу и едва переносила голоса играющих детей.

Наконец, услышав давно ожидаемый стук, она поспешно подошла к двери и встретила своего мужа. Это был еще молодой человек, но лицо его уже носило отпечаток утомления, забот и

горя. Выражение его лица светилось какою-то радостью, которой он, по-видимому стыдился, которую он старался подавить. Он сел за обед, подогревавшийся для него, и когда она, после долгого молчания, нежно спросила, какие новости, он, казалось, затруднился, что ответить.

— Хорошие или дурные? — спросила она, желая вывести его из этого затруднения.

— Дурные, — ответил он.

— Мы разорены вконец?

— Нет, еще осталась надежда, Каролина.

— Если он смилостивится, — сказала пораженная женщина, — то, конечно, еще не все пропало, если бы случилось такое чудо, осталась бы некоторая надежда.

— Ему уже теперь не до того: он умер, — сказал ее муж.

Судя по выражению лица, Каролина была кротким, терпеливым существом, и все-таки она не могла скрыть своей радости при этом известии. Но в следующее мгновение она уже раскаялась, подавив голос сердца.

— Значит, это правда, — то, что вчера вечером сказала мне эта полупьяная женщина, — я о ней уже рассказывала тебе, — когда я хотела повидаться с ним и попросить отсрочки на неделю.

Значит, это была не простая отговорка, не желание отделаться от меня, но совершеннейшая правда. Он был не только болен, он лежал при смерти. К кому же перейдет наш долг?

— Я не знаю. Я думаю, мы еще успеем приготовить деньги к сроку. Едва ли его преемник окажется столь же безжалостным кредитором. Мы можем спокойно спать, Каролина.

Да. Как ни старались они скрыть своих чувств, они все-таки испытывали облегчение. Лица притихших, собравшихся в кучку послушать непонятный для них разговор детей повеселели. Смерть этого человека осенила счастьем этот дом. Единственное чувство, вызванное этой смертью, было чувство радости.

— Если ты хочешь, чтобы эта мрачная комната изгладилась из моей памяти, — сказал Скрудж, — покажи мне, дух, такого человека, который сожалел бы о смерти покойника.

Дух повел его по разным знакомым ему улицам. Проходя по ним, Скрудж всматривался во все, стараясь найти своего двойника, но нигде не видел его. Они вошли в дом бедняка Крэтчита, где они уже однажды были. Мать и дети сидели вокруг огня. Было тихо.

Очень тихо. Маленькие шалуны Крэтчиты си-

дели в углу тихо и неподвижно, точно статуэтки, глядя на Петра, державшего перед собою книгу. Мать и дочери, занятые шитьем, тоже были както особенно тихи.

«И он взял ребенка и поставил его посреди них».

Где слышал Скрудж эти слова? Не приснились же они ему? Наверное, мальчик прочел их, когда они переступили порог. Почему же он не продолжает?

Мать положила работу на стол и подняла руки к лицу.

— Этот свет раздражает мои глаза, — сказала она. — Ах, бедный, маленький Тим! Теперь лучше, — сказала жена Крэтчита. — Я хуже вижу при свете свечей. Мне очень не хочется, чтобы ваш отец, придя домой, заметил, что глаза мои так утомлены.

— Давно бы пора ему прийти, — ответил Петр, закрывая книгу. — Мне кажется, что несколько последних вечеров он ходит медленнее, чем обыкновенно.

Снова воцарилось молчание. Наконец, жена Крэтчита сказала твердым веселым голосом, который вдруг оборвался.

— Я знаю, что он... Помню, бывало, и с Тайни-

Тимом на плече он ходил быстро.

— И я помню это, — воскликнул Петр.

— И я, — отозвался другой. — Все видели это.

— Но он был очень легок, — начала она снова, усердно занимаясь работой, — и отец так любил его, что для него не составляло труда носить его. А вот и он!

И она поспешила навстречу маленькому Бобу, закутанному в свой неизменный шарф.

Приготовленный к его возвращению чай подогревался у камина, и все старались прислуживать Бобу, кто чем мог. Затем два маленьких Крэтчита взобрались к нему на колени, и каждый из них приложил маленькую щечку к его щеке, как бы говоря: не огорчайся, папа! Боб был очень весел и радостно болтал со всеми. Увидев на столе работу, он похвалил мистрис Крэтчит и девочек за усердие и быстроту; они, наверное, кончат ее раньше воскресенья.

— Воскресенья! Ты уже был там сегодня, Роберт? — сказала мистрис Крэтчит.

— Да, дорогая, — отозвался Боб. — Жаль, что ты не могла пойти туда, у тебя отлегло бы на сердце при виде зеленой травы, которой заросло то место. Да ты еще увидишь его. Я обещал приходить туда каждое воскресенье. Мой бедный мальчик,

мое бедное дитя!

Он не в силах был удержать рыданий. Может быть, он и удержал бы их, да уж слишком любили они друг друга!

Выйдя из комнаты, он поднялся по лестнице наверх, в комнату, украшенную по-праздничному. Возле постели ребенка стоял стул и были заметны следы недавнего пребывания людей. Немного успокоившись, Боб сел на стул и поцеловал маленькое личико. Он примирился с тем, что случилось, и пошел вниз успокоенный.

Все придвинулись к камину, и потекла беседа. Девочки и мать продолжали работать. Боб рассказывал о чрезвычайной доброте племянника Скруджа, которого он видел только один раз. «Да, только раз, и однако, встретив меня после этого на улице, — говорил Боб, — и заметив, что я расстроен, он тотчас же осведомился, что такое со мной случилось, что так огорчило меня. И я, — сказал Боб, — я все рассказал ему, ибо это необыкновенно славный человек». — «Я очень сожалею об этом, мистер Крэтчит, — сказал он, — и душевно сочувствую горю вашей доброй супруги». Впрочем, я удивляюсь, откуда он знает все это?

— Что, мой дорогой?

— Что ты добрая, прекрасная жена!

— Всякий знает это, — сказал Петр.

— Ты сказал хорошо, мой мальчик, — воскликнул Боб. — Надеюсь, это сущая правда. «Сердечно сочувствую вашей доброй жене. Если я могу быть чем-нибудь полезен вам, — сказал он, — то вот мой адрес. Пожалуйста, навестите меня!» Это восхитительно, и прежде всего не потому, что он может принести нам какую-либо пользу, восхитительна прежде всего его любезность: он как будто знал нашего Тима и разделял наши чувства.

— Он, вероятно, очень добр, — сказала мистрис Крэтчит.

— Ты еще более убедилась бы в этом, дорогая, — ответил Боб, — если бы видела его и поговорила с ним. Меня, заметь, нисколько не удивит, если он даст Петру лучшее место.

— Слышишь, Петр? — сказала мистрис Крэтчит.

— А потом Петр найдет себе невесту, — воскликнула одна из девочек. — И обзаведется своим домиком.

— Отстань, — ответил Петр улыбаясь.

— Это все еще в будущем, — сказал Боб, — для этого еще довольно времени. Но когда бы мы ни

расстались друг с другом, я верю, что ни один из нас не забудет бедного Тима! Не правда ли?

— Никогда, отец, — вскричали все.

— Я знаю, — сказал Боб, — знаю, дорогие мои, что, когда мы вспомним, как кроток и терпелив он был, будучи еще совсем маленьким, мы не будем ссориться в память о нем, не забудем бедного Тима.

— Никогда, отец, никогда, — снова закричали все.

— Я очень счастлив, — сказал маленький Боб, — я очень счастлив.

Мистрис Крэтчит, дочери и два маленьких Крэтчита поцеловали его, а Петр пожал ему руку.

— Дух, — сказал Скрудж, — мы должны скоро расстаться — я знаю это. — Но я не знаю, как это будет? Скажи мне, кто тот покойник?

Дух будущего Рождества снова повел его вперед, как вел и прежде, хотя, казалось, время изменилось: действительно, в видениях уже не было никакой последовательности, кроме того, что все они были в будущем. Они были среди деловых людей, но там Скрудж не видел своего двойника. Дух упорно, не останавливаясь, шел вперед, точно преследуя какую-то цель, пока Скрудж не попросил его остановиться хотя на

одно мгновение.

— Двор, по которому мы мчимся так быстро, был местом, где я долгое время работал, — сказал Скрудж. — Я вижу дом. Позволь мне посмотреть, что станет со мной в будущем.

Дух остановился, но рука его была простерта в другую сторону.

— Ведь вот дом, — воскликнул Скрудж. — Почему же ты показываешь не на него?

Но рука духа оставалась неподвижна.

Скрудж быстро подошел к окну своей конторы и заглянул в нее. Сама комната, ее обстановка были те же, что и прежде, но сидевший на стуле человек был не он. Однако призрак неизменно указывал в том же направлении.

Скрудж снова обернулся к нему, не понимая, куда и зачем ведут его, но покорился и следовал за духом до тех пор, пока они не достигли железных ворот.

Кладбище. Здесь под плитой лежал тот несчастный, имя которого предстояло узнать Скруджу. Это было место, достойное его. Оно было окружено домами, заросло сорной травой и другой растительностью — не жизни, а смерти, пресыщенной трупными соками. Да, поистине достойное место!

Дух стоял посреди могил и указывал на одну из них.

С дрожью во всем теле Скрудж приблизился к ней. Призрак оставался тем же, но Скрудж теперь боялся его, видя что-то новое во всей его величественной фигуре.

— Прежде чем я подойду к этому камню, на который ты указываешь, — сказал Скрудж, — ответь мне на один вопрос. Это тени будущих вещей или же тени вещей, которые могут быть?

Дух указал на могилу, возле которой стоял Скрудж.

— Пути жизней человеческих предопределяют и конец их, — сказал Скрудж. — Но ведь если пути изменятся, то изменится и конец. Согласуется ли это с тем, что ты показываешь?

Дух был по-прежнему недвижим.

Скрудж, дрожа, подполз к могиле, следуя указанию пальца духа и прочитал на камне заброшенной могилы свое имя:

«Эбензар Скрудж».

— Но неужели человек, лежавший на кровати, — я? — воскликнул Скрудж, стоя на коленях.

Палец попеременно указывал то на него, то на могилу.

— Нет, дух, нет!

Палец указывал в том же направлении.

— Дух, — воскликнул Скрудж, крепко хватаясь за одежду духа, — выслушай меня. Я уже не тот, каким был. Я не хочу быть таким, каким был до общения с тобою! Зачем ты показываешь все это, раз нет для меня никакой надежды на новую жизнь?

Казалось, рука дрогнула — в первый раз.

— Добрый дух, — продолжал Скрудж, стоя перед ним на коленях. — Ты жалеешь меня. Не лишай же меня веры в то, что я еще могу, исправившись, изменить тени, которые ты показал мне!

Благостная рука снова дрогнула.

— Всем сердцем моим я буду чтить Рождество, и воспоминание о нем буду хранить в сердце круглый год! Я буду жить прошлым, настоящим и будущим! Воспоминание о духах будет всегда живо во мне, я не забуду их спасительных уроков. О, скажи мне, что я еще могу стереть начертанное на этом камне!

В отчаянии Скрудж схватил руку призрака. Тот старался высвободить ее, но Скрудж держал ее настойчиво, крепко. Но дух оттолкнул его от себя. Простирая руки в последней мольбе, Скрудж вдруг заметил какую-то перемену в одеянии духа. Дух сократился, съежился, — и Скрудж увидел

столбик своей кровати.

Строфа V
Эпилог

Да, это был столбик его собственной кровати. И комната была его собственная. Лучше же всего, радостнее всего было то, что будущее тоже принадлежало ему — он мог искупить свое прошлое,

— Я буду жить прошлым, настоящим и будущим! — повторял Скрудж, слезая с кровати. — В моей душе всегда будет живо воспоминание о всех трех духах. О, Яков Марли! Да будут благословенны небо и Рождество! Я произношу это на коленях, старый Марли, на коленях!

Он был так взволнован и возбужден желанием поскорее осуществить на деле свои добрые намерения, что его голос почти отказался повиноваться ему. Лицо это было мокро от слез, — ведь он так горько плакал во время борьбы с духом.

— Они целы! — вскричал Скрудж, хватаясь за одну из занавесок кровати. — Все цело — я их увижу, — всего того, что могло быть, не будет! Я верю в это!

Он хотел одеться, но надевал платье наизнанку чуть не разрывал его, забывал, где что поло-

жил, — проделывал всякие дикие штуки.

— Я не знаю, что делать! — вскричал Скрудж, смеясь и плача, возясь со своими чулками, точно Лао-коон со змеями. — Я легок, как перо, счастлив, как ангел. Весел, как школьник! Голова кружится, как у пьяного. С радостью всех! С праздником! Счастливого Нового года всему миру! Ура! Ура!

Вбежав в припрыжку в приемную, он остановился, совершенно запыхавшись.

— Вот и кастрюлька с овсянкой! — вскричал он, вертясь перед камином. — Вот дверь, через которую вошел дух Якова Марли! Вот окно, в которое я смотрел на реющих духов! Все, как и должно быть, все, что было, — было. Ха, ха, ха!

Он смеялся, — и для человека, который не смеялся столько лет, этот смех был великолепен, чудесен. Он служил предвестником чистой, непрерывной радости.

— Но какое число сегодня? — сказал Скрудж. — Долго ли я был среди духов? Не знаю, не знаю ничего. Я точно младенец. Да ничего, это не беда! Пусть лучше я буду младенцем! Ура! Ура! Ура!

Громкий, веселый перезвон церковных колоколов, — такой, которого он никогда не слыхал раньше, вывел его из восторженного состояния. Бим, бом, бам! Дон, динь, дон! Бом, бом, бам! О,

радость, радость!

Подбежав к окну, он открыл его и высунул голову. Ни тумана, ни мглы! Ярко, светло, радостно, весело, бодро и холодно! Мороз, от которого играет кровь! Золотой блеск солнца. Безоблачное небо, свежий сладкий воздух, веселые колокола! Как дивно-хорошо! Как великолепно все!

— Какой день сегодня? — воскликнул Скрудж, обращаясь к мальчику в праздничном костюме, который зазевался, глядя на него.

— Что? — спросил сильно удивленный мальчик.

— Какой у нас сегодня день, мой друг? — спросил Скрудж.

— Сегодня? — ответил мальчик. — Вот тебе раз! Рождество, конечно!

— Рождество! — сказал Скрудж самому себе. — Значит, я не пропустил его. Духи все сделали в одну ночь. Они все могут, все, что захотят. Разумеется, все. Ура, дорогой друг.

— Ура! — отозвался мальчик.

— Знаешь ли ты лавку, на соседней улице на углу, где торгуют битой птицей? — спросил Скрудж.

— Еще бы не знать! — ответил мальчик.

— Умник! — сказал Скрудж. — Замечательный

мальчик! Так вот, не знаешь ли ты, продана или нет индейка, висевшая вчера там, — та, что получила приз на выставке? Не маленькая индейка, а большая, самая большая?

— Это та, что с меня величиной? — спросил мальчик.

— Какой удивительный ребенок! — сказал Скрудж. — Приятно говорить с ним! Да, именно та, дружок!

— Нет, еще не продана, — сказал мальчик.

— Да? — воскликнул Скрудж. — Ну, так ступай и купи ее.

— Вы шутите?

— Нет, нет, — сказал Скрудж. — Нисколько. Ступай и купи ее. И, скажи, чтобы ее доставили сюда, а там я скажу, куда ее отнести. Вернись сюда вместе с приказчиком, который понесет индейку. За работу получишь шиллинг. Если же вернешься раньше, чем через пять минут, я дам тебе полкроны.

Мальчик полетел, как стрела из лука, да с такой быстротой, с которой не пустил бы ее и самый искусный стрелок.

— Я пошлю ее Бобу Крэтчиту, — прошептал Скрудж, потирая руки и разражаясь смехом. — И он так и не узнает, кто ее прислал. Она вдвое

больше Тайни-Тима. Джек Миллер никогда бы не придумал подобной штуки — послать Бобу индейку!

Почерк, которым он писал адрес, был нетверд. Написав кое-как, Скрудж спустился вниз по лестнице, чтобы открыть дверь и встретить лавочника. Ожидая его, он остановился. Молоток попался ему на глаза.

— Всю жизнь буду любить его! — воскликнул Скрудж, потрепав его. — А прежде я почти не замечал его. Какое честное выражение лица! Удивительный молоток! А вот и индейка! Ура! Как поживаете? С праздником!

Ну, и индейка! Вряд ли эта птица могла стоять на ногах? Они мгновенно переломились бы, как сургучные палки!

— Да ее невозможно будет отнести в Камден-Таун! — воскликнул Скрудж. — Придется нанять извозчика.

Со смехом говорил он это, со смехом платил за индейку, со смехом отдал деньги извозчику, со смехом наградил мальчика — и все это кончилось таким припадком хохота, что он был принужден сесть на стул, едва переводя дух, хохоча до слез, до колик.

Выбриться теперь, когда так сильно, дрожали

руки, было нелегко: бритье требует внимания даже и тогда, когда вы совершенно спокойны. Ну, да и то не беда — если он сбреет кончик носа, можно будет наложить кусочек липкого пластыря, и дело в шляпе!

Одевшись в самое лучшее платье, Скрудж вышел, наконец, на улицу. Толпа народа сновала так же, как и во время его скитаний с духом нынешнего Рождества. Заложив руки назад, Скрудж с радостной улыбкой смотрел на каждого. Выражение его лица было так приветливо, что трое добродушных прохожих сказали ему: «Доброго утра, сэр! С праздником!» — и впоследствии Скрудж часто говорил, что из всего, что он когда-либо слышал, это было самое радостное.

Сделав несколько шагов, он встретился с пожилым представительным господином, приходившим вчера в его контору и сказавшим ему: «Скрудж и Марли, не так ли?» — и что-то кольнуло его в сердце, когда он подумал, как-то взглянет он на него. Все же он отлично знал теперь, что надо делать, и прямо подошел к нему.

— Дорогой сэр, — сказал Скрудж, ускоряя шаги и беря господина под руку. — Как поживаете? Полагаю, что вы поработали успешно. Как это хорошо с вашей стороны. Поздравляю вас с праздником!

— Мистер Скрудж?

— Да, — ответил Скрудж. — Меня зовут Скруджем, но я боюсь, что это неприятно вам. Позвольте попросить у вас извинения. Будьте так добры… — И тут Скрудж шепнул ему что-то на ухо.

— Боже мой! — воскликнул господин, с трудом переводя дух. — Вы не шутите, дорогой Скрудж?

— Нет, нет, — сказал Скрудж. — И ни полушки менее! За мной много долгов, с которыми я и хочу теперь расплатиться. Прошу вас!

— Дорогой сэр! — сказал господин, пожимая ему руку. — Не знаю, как и благодарить вас за такую щедрость.

— Ни слова больше, пожалуйста, — быстро возразил Скрудж. — Не откажитесь навестить меня. Навестите? Да?

— С удовольствием! — воскликнул господин и таким тоном, что было ясно, что он исполнит свое обещание.

— Благодарю вас, — сказал Скрудж. — Я многим обязан вам. Бесконечно благодарен вам.

Он зашел в церковь, а затем бродил по улицам, присматриваясь к людям, торопливо сновавшим взад и вперед, заговаривал с нищими, ласково гладил по голове детей, заглядывал в кухни и в окна домов, — и все это доставляло ему радость.

Ему и во сне не снилось, что подобная прогулка могла доставить столько радости! В полдень он направился к дому своего племянника.

Но прежде чем он отважился постучать и войти, он раз двенадцать прошел мимо двери. Наконец стремительно схватился за молоток.

— Дома ли хозяин, милая? — сказал он горничной. — Какая вы славная! Просто прелесть!

— Дома, сэр.

— А где, милая моя?

— Он в столовой, сэр, вместе с барыней. Я провожу вас, если вам угодно.

— Благодарю. Он знает меня, — сказал Скрудж, берясь за дверь в столовую.

Он тихо отворил и украдкой заглянул в комнату. Хозяева осматривали обеденный стол, накрытый очень парадно, ибо ведь молодые в этом отношении очень взыскательны, очень любят, чтобы все было как у людей.

— Фред, — сказал Скрудж.

Батюшки мои, как вздрогнула при этих словах его племянница. Он совершенно забыл, что она сидела в углу, поставив ноги на скамейку, иначе он не сказал бы этого.

— С нами крестная сила! — воскликнул Фред. — Кто это?

— Это я. Твой дядя Скрудж. Я пришел обедать. Можно войти, Фред?

Можно ли войти! Ему чуть не оторвали руку! Не прошло и пяти минут, как Скрудж почувствовал себя уже совсем как дома. Нельзя было и представить более радушного приема. И племянница не отставала в любезности от мужа. Да не менее любезны были и пришедшие вслед за Скруджем Топпер и полная девушка, сестра племянницы, не менее любезны были и все остальные гости. Какая славная составилась компания! Какие затеялись игры! Какая царила радость, какое единодушие!

На следующее утро Скрудж рано пришел в свою контору. И да, ранехонько! Непременно надо было прийти раньше Боба Крэтчита и уличить его в опоздании. Этого он хотел больше всего — и так оно вышло. Да. Часы пробили девять. Боба нет. Прошло еще четверть часа. Боба нет. Он опоздал на целых восемнадцать с половиной минут! Скрудж сидел, широко растворив дверь, чтобы увидеть, как войдет Боб в свою каморку.

Прежде чем отпереть дверь, Боб снял шляпу, а затем и шарф. В одно мгновение он был на своем стуле и заскрипел пером с необыкновенной поспешностью.

— Гм! — проворчал Скрудж, стараясь придать своему голосу обычный тон. — Что значит, что вы являетесь в такую пору?

— Я очень огорчен, сэр, — сказал Боб. — Я опоздал.

— Опоздал? Я думаю! Потрудитесь пожаловать сюда, сэр. Прошу вас!

— Это случается только раз в год, — сказал Боб, выходя из каморки. — Этого не повторится больше. Вчера я немного засиделся, сэр.

— А я, мой друг, хочу сказать вам следующее, — сказал Скрудж. — Я не могу более терпеть этого.

А потому, — продолжал он, соскакивая со стула и давая Бобу такой толчок в грудь, что тот отшатнулся назад, в свою каморку, — я прибавляю вам жалованья!

Боб задрожал и сунулся к столу, к линейке. У него мелькнула мысль ударить ею Скруджа, схватить его, позвать на помощь народ со двора и отправить его в сумасшедший дом.

— С праздником! С радостью, Боб! — сказал Скрудж с серьезностью, не допускавшей ни малейшего сомнения, и потрепал его по плечу. — С праздником, дорогой мой, но не таким, какие я устраивал вам раньше: я прибавлю вам жалованья и постараюсь помочь нашей бедной семье.

Об этом мы еще поговорим сегодня после обеда за чашкой дымящегося пунша. Прибавьте огня и купите другой ящик для угля. И не медля, Боб Крэтчит, не медля ни минуты!

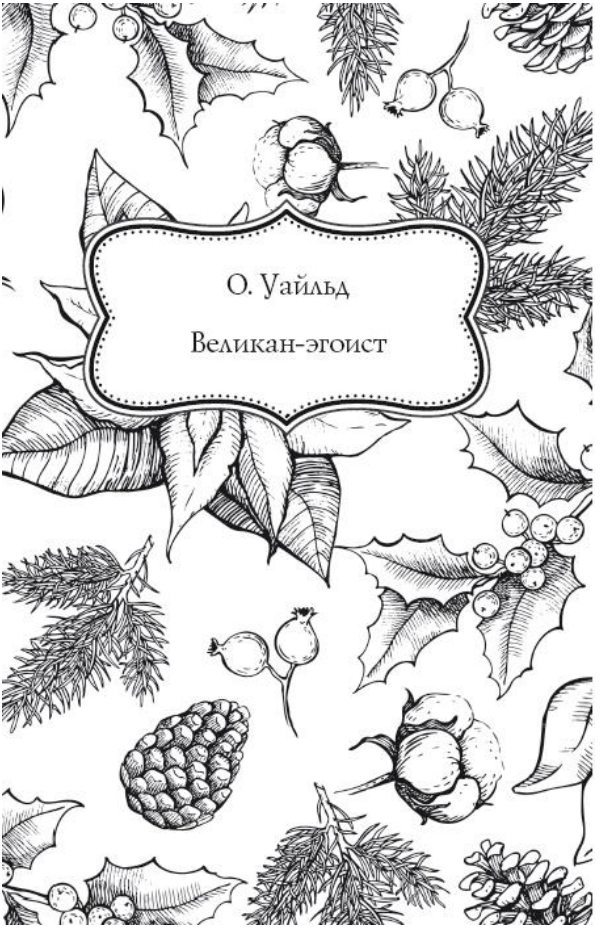
Скрудж сдержал свое слово. Он сделал гораздо более того, что обещал. Для Тайни-Тима, который остался жив, он стал вторым отцом.

Он сделался совершенно другим — добрым другом, добрым хозяином и добрым человеком, таким добрым, которого вряд ли знал какой-либо добрый старый город в доброе старое время.

Некоторые смеялись, видя эту перемену, но он мало обращал на них внимания: он был достаточно мудр и знал, что есть не мало людей на земле, осмеивающих вначале все хорошее. Знал, что такие люди все равно будут смеяться, и думал, что пусть лучше смеются они на здоровье, чем плачут. С него было достаточно и того, что у него самого было радостно и легко на душе.

Больше он уже не встречался с духами, но всю свою последующую жизнь помнил, о них. Про него говорили, что он, как никто, встречает праздник Рождества. И хорошо, если бы так говорили о каждом из нас, да, о каждом из нас! И да благословит Господь каждого из нас, как говорил Тайни-Тим.

О. Уайльд


О. Уайльд
Великан-эгоист

Великан-эгоист
(Перевод И. Сахарова)



У одного великана был чудный большой сад. Заросший зеленью и цветами, он представлял красивое зрелище. Самым прелестным местечком этого сада была большая зеленая лужайка, среди которой возвышались двенадцать персиковых деревьев. С наступлением весны деревья покрывались розовыми и белыми цветами. Среди их ветвей порхали птички, которые неустанно чирикали и пели чудные песни.

Как только кончались занятия в школе, дети спешили в сад великана поиграть и послушать певчих птичек.

— Ах, как здесь хорошо! — говорили они.

Дети не боялись великана, потому что его никогда не было дома. Говорили, что он уже семь лет гостит у своего друга на севере и едва ли вер-

нется домой.

Но вот в один прекрасный денек разнеслась весть, что великан вернулся в свой замок. И действительно, когда дети пришли в сад, великан страшно закричал на них:

— Как вы смеете ходить в чужой сад? Он принадлежит мне, и никто не имеет права распоряжаться в нем.

И великан построил кругом сада высокую стену, а на входных воротах сделал надпись: «Всех нарушителей права собственности я буду преследовать законом».

Великан был страшным эгоистом, т. е. любил только самого себя, а до других ему не было никакого дела.

С того времени у детей не стало хорошего местечка для игр. Игры на пыльной дороге им не нравились.

— Как хорошо было там! — грустно говорили они, смотря на высокую стену сада и вспоминая свои игры в нем.

С наступлением весны вся окрестность разукрасилась зеленью и красивыми цветами. Лишь в саду великана не таял снег. Высокая каменная стена и густые вековые деревья делали этот сад погребом. В саду было мертво. Птицы не оглаша-

ли его своим пением, дети не резвились в нем, и даже зелень не появлялась. Только снег да мороз радовались своему покою.

— Да, здесь хороший приют для нас! — говорили они.

Холодный ветер часто приходил к ним в гости и потешал хозяев своим пением и танцами, завывая по саду и кружась вихрем вокруг деревьев.

— Странно, почему это весна забыла мой сад, — говорил эгоист-великан, смотря на холодный сад из окна своего замка.

Великан был прав; весна не приходила в его сад, а наступившее лето только слегка покрыло зеленью некоторые деревья его сада.

Так прошел целый год; в саду великана была постоянная зима. И великан не мог понять, отчего это происходит.

Как-то весенним утром великану почудилось, что где-то играет чудная музыка. «Наверное, королевский полк проходит мимо», — подумал великан. Но королевский полк на самом деле не проходил, и музыка не играла. Просто-напросто под окном великана запела случайно залетевшая сюда коноплянка. Великан же так давно не слыхал пения птиц, что оно теперь показалось ему прекраснейшей музыкой.

Великан отворил окно и выглянул. Обычного завыванья ветра не было, а чрез растворенное окно доносилось нежное благоухание весны.

— Наконец-то настала весна! — воскликнул великан и вышел в сад. Но только повернул он налево, как увидел следующее. Сквозь маленькое отверстие в стене дети пролезли в сад и засели на деревьях. Каждый малыш избрал себе по дереву. Сад как будто так обрадовался дорогим гостям, что, казалось, мгновенно расцвел. Деревья зазеленели, цветы улыбались из травы, а птицы весело защебетали. Это была чудная картина. Великан остолбенел. Он не мог оторваться от восхитительного зрелища. Случайно его взор упал на отдаленный уголок сада. Там, близ дерева, стоял маленький мальчик и плакал. Он никак не мог взобраться на дерево. И бедное дерево все еще было покрыто снегом. Великан был растроган. Его сердце вдруг растаяло.

— Неужели я был таким эгоистом, что не пускал детей в сад! — сказал он. — Теперь мне ясно, отчего весна не приходила сюда. Отныне я уничтожу эту стену и сделаю свой сад постоянным местом для игр детей.

Великан пошел к тому месту, где стоял плачущий малютка. Дети увидали его и, испугавшись,

бросились бежать. Великану показалось, что сад принял свой прежний зимний вид.

Тихо подкравшись к мальчику, великан осторожно поднял его и посадил на дерево. В этот момент великану показалось, что дерево зацвело, а вблизи запели птички. Малютка, обрадованный, что его подсадили на дерево, протянул свои ручонки и поцеловал великана. Дети в отверстие стены наблюдали за великаном. Они были очень удивлены, что он не сердится на них, и полезли опять в сад. А с ними как будто вернулась и весна.

— Ну, детки, всегда играйте в этом саду: он ваш, — сказал великан.

С этими словами он пошел ко двору и, взяв там громадную кирку, начал разрушать ею стену. Потом он стал играть с детьми и целый день провел с ними. Когда же прощался с детьми, то заметил, что того малютки, которого он посадил на дерево, не было среди них.

— Где же тот мальчик, которого я подсаживал? — спросил великан у детей.

— Мы не знаем, где он живет, и никогда его раньше не видали, — ответили дети.

Великан опечалился: он так полюбил малютку.

С этого времени дети каждый день приходили играть в сад великана. Добрый великан играл с ними и забавлял их. Он тосковал только по своем первом друге-малютке.

— Ах, как мне приятно было бы увидеть его! — говорил нередко великан.

Прошло много лет. Великан постарел и потерял силы. С детьми он уже не играл, но, сидя в большом кресле, любовался их играми.

— Вы знаете, у меня много прекрасных цветов, но дети прекраснее их, и я больше всего люблю их, — говорил великан своим знакомым.

Раз зимним утром великан взглянул в окно, выходившее в сад. Вдруг он заметил, что в отдаленном углу сада стоит дерево, покрытое нежными белыми цветами. Великан изумился. Приглядевшись попристальнее, он увидел под деревом того самого малютку, которого много лет тому назад подсаживал на дерево.

Сердце великана встрепенулось. Обрадованный, он бросился к малютке. Но, подбежав к нему, он остановился и гневно вскричал:

— Кто тебя ранил? Как смели обидеть тебя?

Ручонки ребенка были в крови. На его ножках также виднелась кровь.

— Кто, кто тебя ранил? — кричал взволнованно

великан. — Отвечай мне, я сейчас пойду и изрублю мечом того.

— Это — не настоящие раны, это — раны для испытания твоей любви ко мне, — тихо ответил малютка.

— Кто ты? — спросил его великан.

Малютка улыбнулся и ответил:

— Ты сделал доброе дело, позволив мне играть в твоем саду. Твое сердце растопилось, и с тех пор твой сад стал раем для детей. Сегодня же я возьму тебя в мой сад, который зовется Раем. И мы будем там навсегда…

Великан благоговейно склонил колени пред малюткой и пал ниц…

После уроков дети прибежали в сад великана и стали играть. Один мальчик забежал к цветущему дереву и споткнулся. Взглянув наземь, он вскрикнул. Дети бросились к нему и нашли под деревом мертвого великана.